

Фазиль Искандер



НАЧАЛО

Фазиль  
Искандер



НАЧАЛО

РАССКАЗЫ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «АЛАШАРА»  
СУХУМИ — 1978

*Читателю известны поэтические и прозаические книги Фазиля Искандера. Творчество его глубоко национально, оно связано с Абхазией, ее людьми, веселыми и гордыми, и яркими красками ее природы, где родился, рос и начинал свой путь в художественную литературу автор.*

## Н А Ч А Л О

Поговорим просто так. Поговорим о вещах необязательных и потому приятных. Поговорим о забавных свойствах человеческой природы, воплощенной в наших знакомых. Нет большего наслаждения, как говорить о некоторых странных привычках наших знакомых. Ведь мы об этом говорим, как бы прислушиваясь к собственной здоровой нормальности, и в то же время подразумеваем, что и мы могли бы позволить себе такого рода отклонения, но не хотим, нам это ни к чему. А может, все-таки хотим?

Одно из забавных свойств человеческой природы заключается в том, что каждый человек стремится доигрывать собственный образ, навязанный ему окружающими людьми. Иной питтит, а доигрывает.

Если, скажем, окружающие захотели увидеть в тебе исполнительного мула, сколько ни сопротивляйся, ничего не получится. Своим сопротивлением ты, наоборот,крепишься в этом звании. Вместо простого исполнительного мула ты превратишься в упорствующего или даже озлобленного мула.

Правда, в отдельных случаях человеку удается навязать окружающим свой желательный образ. Чаще всего это удается людям много, но систематически пьющим.

Какой, говорят, хороший был бы человек, если б не пил. Про одного моего знакомого так и говорят: мол, талантливый инженер человеческих душ, губит вином свой талант. Попробуй вслух сказать, что он, во-первых, не инженер, а техник человеческих душ, а во-вторых, кто видел его талант? Не скажешь, потому что неблагоприятно получается. Человек и так пьет, а ты еще осложняешь ему жизнь всякими кляузами. Если пьющему не можешь помочь, то по крайней мере не мешай ему.

Но все-таки человек доигрывает тот образ, который навязан ему окружающими людьми. Вот пример.

Однажды, когда я учился в школе, мы всем классом ра-

ботали на одном приморском пустыре, стараясь превратить его в место для культурного отдыха. Как это ни странно, в самом деле превратили.

Мы засадили пустырь эвкалиптовыми саженцами передовым для того времени методом гнездовой посадки. Правда, когда саженцев оставалось мало, а на пустыре было еще достаточно свободного места, мы стали сажать по одному саженцу в ямку, таким образом давая возможность новому, прогрессивному методу и старому проявить себя в свободном соревновании.

Через несколько лет на пустыре выросла прекрасная эвкалиптовая роща, и уже никак невозможно было различить, где гнездовые посадки, а где одиночные. Тогда говорили, что одиночные саженцы в непосредственной близости от гнездовых, завидуя им Хорошей Завистью, подтягиваются и растут, не отставая.

Так или иначе, сейчас, приезжая в родной город, я иногда в жару отдыхаю под нашими, теперь огромными, деревьями и чувствую себя Взволнованным Патриархом. Вообще эвкалипт очень быстро растет, и каждый, кто хочет чувствовать себя Взволнованным Патриархом, может посадить эвкалипт и дождаться его высокой, позвякивающей, как елочные игрушки, кроны.

Но дело не в этом. Дело в том, что в тот давний день, когда мы возделывали пустырь, один из ребят обратил внимание остальных на то, как я держу носилки, на которых мы перетаскивали землю. Военрук, присматривавший за нами, тоже обратил внимание на то, как я держу носилки. Все обратили внимание на то, как я держу носилки. Надо было найти повод для веселья, и повод был найден. Оказалось, что я держу носилки, как Отъявленный Лентяй.

Это был первый кристалл, выпавший из раствора, и дальше уже шел деловитый процесс кристаллизации, которому я теперь сам помогал, чтобы окончательно докристаллизоваться в заданном направлении.

Теперь все работало на образ. Если я на контрольной по математике сидел, никому не мешая, спокойно дожидаясь, покамест мой товарищ решит задачу, то все приписывали это моей лени, а не тупости. Естественно, я не пытался в этом кого-нибудь разуверить. Когда же я по русскому письменному писал прямо из головы, не пользуясь учебниками и шпаргалками, это тем более служило доказательством моей неисправимой лени.

Чтобы оставаться в образе, я перестал исполнять обязанности дежурного. К этому привыкли настолько, что, когда кто-нибудь из учеников забывал выполнять обязанности дежурного, учителя под одобрительный шум класса заставляли меня стирать с доски или тащить в класс физические приборы. Впрочем, приборов тогда не было, но кое-что тащить приходилось.

Развитие образа привело к тому, что я вынужден был перестать делать домашние уроки. При этом, чтобы сохранить остроту положения, я должен был достаточно хорошо учиться.

По этой причине я каждый день, как только начиналось объяснение материала по гуманитарным предметам, ложился на парту и делал вид, что дремлю. Если учителя возмущались моей позой, я говорил, что заболел, но не хочу пропускать занятий, чтобы не отстать. Лежа на парте, я внимательно слушал голос учителя, не отвлекаясь на обычные шалости, и старался запомнить все, что он говорит. После объяснения нового материала, если оставалось время, я вызывался отвечать в счет будущего урока.

Учителей это радовало, потому что льстило их педагогическому самолюбию. Получалось, что они так хорошо и доходчиво доносят свой предмет, что ученики, даже не пользуясь учебниками, все усваивают.

Учитель ставил мне в журнал хорошую оценку, звенел звонок, и все были довольны. И никто, кроме меня, не знал, что только что зафиксированные знания рушатся из моей головы, как рушится штанга из рук штангиста после того, как прозвучит судейское: «Вес взят!»

Для полной точности надо сказать, что иногда, когда я, делая вид, что дремлю, лежал на парте, я и в самом деле погружался в дремоту, хотя голос учителя продолжал слышать. Гораздо позже я узнал, что таким, или почти таким, методом изучают языки. Я думаю, не будет выглядеть слишком нескромным, если я сейчас скажу, что открытие его принадлежит мне. О случаях полного засыпания я не говорю, потому что они были редки.

Через некоторое время слухи об Отъявленном Лентяе дошли до директора школы, и он почему-то решил, что это именно я стащил подзорную трубу, которая полгода назад исчезла из географического кабинета. Не знаю, почему он так решил. Возможно сама идея хотя бы зрительного со-

кращения расстояния, решил он, больше всего могла соблазнить лентяя. Другого объяснения я не нахожу. К счастью, подозрную трубу отыскали, но ко мне продолжали присматриваться, почему-то ожидая, что я собираюсь выкинуть какой-нибудь фокус. Вскоре выяснилось, что никаких фокусов я не собираюсь выкидывать, что я, напротив, очень послушный и добросовестный лентяй. Более того, будучи лентяем, я вполне прилично учился.

Тогда ко мне решили применить метод массированного воспитания, модный в те годы. Суть его заключалась в том, что все учителя неожиданно наваливались на одного нерадивого ученика и, пользуясь его растерянностью, доводили его успеваемость до образцово-показательного блеска.

Идея метода заключалась в том, что после этого другие нерадивые ученики, завидуя ему Хорошей Зависти, будут сами подтягиваться до его уровня, как одиночные посадки эвкалиптов. Эффект достигался неожиданностью массированного нападения. В противном случае ученик мог ускользнуть или испакостить сам метод.

Как правило, опыт удавался. Не успевала мала куча, образованная массированным нападением, рассосаться, как преобразованный ученик стоял среди лучших, нагло улыбаясь смущенной улыбкой обесчещенного.

В этом случае учителя, завидуя друг другу, может быть не слишком Хорошей Завистью, ревниво по журналу следили, как он повышает успеваемость, и уж конечно каждый старался, чтобы кривая успеваемости на отрезке его предмета не нарушала победную крутизну.

То ли на меня навалились слишком дружно, то ли забыли мой собственный приличный уровень, но когда стали подводить итоги опыта работы надо мной, выяснилось, что меня довели до уровня кандидата в медалисты.

— На серебряную потянешь, — однажды обвинила класная руководительница, тревожно заглядывая мне в глаза.

Это была маленькая, самолюбивая каста неприкасаемых. Даже учителя слегка побаивались кандидатов в медалисты. Они были призваны защищать честь школы. Замахнуться на кандидата в медалисты было все равно, что поставить под удар честь школы.

Каждый из кандидатов в свое время собственными силами добивался выдающихся успехов по какому-нибудь из основных предметов, а уж по остальным его дотягивали

до нужного уровня. Включение меня в кандидаты было пока еще тихим триумфом метода массированного воспитания.

На выпускных экзаменах к нам были приставлены наиболее толковые учителя. Они подходили к нам и часто под видом разъяснения содержания билета тихо и сжато рассказывали содержание ответа. Это было как раз то, что нужно. Спринтерская усвояемость, отшлифованная во время исполнения роли Отъявленного Лентяя, помогала мне точно донести до стола комиссии благотворительный шепоток подстраховывающего преподавателя. Мне оставалось включить звук на полную мощность, что я и делал с неподдельным вдохновением.

Кончилось все это тем, что я вместо запланированной на меня серебряной медали получил золотую, потому что один из кандидатов на золотую по дороге сорвался и отстал.

Он был и в самом деле очень сильным учеником, но ему никак не давались сочинения и у него была слишком настырная мать. Она была членом родительского комитета и всем надоела своими вздорными предложениями, которые никто не принимал, но все вынуждены были обсуждать. Она даже внесла предложение кормить кандидатов усиленными завтраками, но члены родительского комитета своим демократическим большинством отвергли ее вредное предложение.

Так вот мальчик этот, готовясь к первому экзамену, составил, чтобы избежать всякой случайности, двадцать сочинений на наиболее возможные темы по русской литературе. Каждое сочинение он сшил в микроскопический томик с эпиграфом и библиографическим знаком на обложке, чтобы не запутаться. Двадцать лилипутских томиков можно было сжать в ладони одной руки.

Он успешно написал свое сочинение, но, видно, переутомился. На следующих экзаменах он хотя и правильно отвечал, но говорил слишком тихим голосом, а главное, задумывался и, что уже совсем непростительно, вдруг возвращался к сказанному, уточняя формулировки уже после того, как экзаменатор кивнул головой в знак согласия.

Когда экзаменатор или, скажем, начальник кивает тебе головой в знак согласия с тем, что ты ему говоришь, так уж, будь добр, валяй дальше, а не возвращайся к сказан-

ному, потому что ты этим самым ставишь его в какое-то не вполне красивое положение.

Получается, что экзаменатору первый раз и не надо было кивать головой, а надо было дождаться, пока ты уточнишь то, что сам же высказал. Так ведь не всегда уточняешь. Некоторые могли даже подумать, что, кивнув первый раз, экзаменатор или начальник не подозревали, что эту же мысль можно еще точнее передать, или даже могли подумать, что в этом есть какая-то беспринципность: мол, и там кивает и тут кивает.

Сам не замечая того, он оскорблял комиссию, как бы снисходил до нее своими ответами.

В конце концов было решено, что он зазнался за время своего долгого пребывания в кандидатах, и на двух последних экзаменах ему на балл снизили оценки.

Вместо него я получил золотую медаль и зонтиком по шее от его мамы на выпускном вечере. Вернее, не на самом вечере, а перед вечером в раздевалке.

— Негодяй, притворявшийся лентяем! — сказала она, увидев меня в раздевалке и одергивая зонтик.

Мне бы промолчать или по крайней мере потерпеть, пока она повесит свой вонючий зонтик.

— Все же он получает серебряную, — сказал я, чувствуя, что мое утешение должно ее раздражать, и, может, именно поэтому утешая.

— Мне серебро даром не надо, — прошипела она и, неожиданно вытянув руку, несколько раз мазнула мне по шее мокрым зонтиком. — Я три года проторчала в комитете!

Она это сделала с такой злостью, словно то, что она мазнула мне по шее зонтиком, ничего не стоит, что, в сущности, шею мою надо было бы перепилить.

— А я вас просил торчать? — только и успел я сказать. Слава богу, из ребят никто ничего не заметил. Но все равно было обидно. Особенно было обидно, что он был

В тот же год я поехал учиться в Москву, а самую мокрый. Если б сухой, не так было бы обидно.

даль, которую я еще не видел, через несколько месяцев принесли маме прямо на работу. Она показала ее знакомому зубному технику, чтобы убедиться в подлинности золота.

— Сказал, настоящее, если он не заодно с ними, — рассказывала она мне на следующий год, когда я приехал на каникулы.

Так, доигрывая навязанный мне образ Отъявленного Лентяя, я пришел к золотой медали, хотя и получил мокрым зонтом по шее.

И вот с аттестатом, зашитым в кармане вместе с деньгами, я сел в поезд и поехал в Москву. В те годы поезда из наших краев шли до Москвы трое суток, так что времени для выбора своей будущей профессии было достаточно, и я остановился на философском факультете университета. Возможно, выбор определило следующее обстоятельство.

Года за два до этого я обменялся с одним мальчиком книгами. Я ему дал «Приключения Шерлока Холмса» Конан-Дойля, а он мне — один из разрозненных томов Гегеля «Лекции по эстетике». Я уже знал, что Гегель — философ и гений, а это в те далекие времена было для меня достаточно солидной рекомендацией.

Так как я тогда еще не знал, что Гегель для чтения трудный автор, я читал, почти все понимая. Если попадались абзацы с длинными, непонятными словами, я их просто пропускал, потому что и без них было все понятно. Позже, учась в институте, я узнал, что у Гегеля, кроме рационального зерна, немало идеалистической шелухи разбросано по сочинениям. Я подумал, что абзацы, которые я пропускал, скорее всего, и содержали эту шелуху.

Вообще я читал эту книгу, раскрывая на какой-нибудь стихотворной цитате. Я обчитывал вокруг нее некоторое пространство, стараясь держаться возле нее, как верблюд возле оазиса. Некоторые мысли его удивили меня высокой точностью попадания. Так, он назвал басню рабским жанром, что было похоже на правду, и я постарался это запомнить, чтобы в будущем по ошибке не написать басни.

Не испытывая никакого особого трепета, я пришел в университет на Моховой. Я поднялся по лестнице и, следуя указателям бумажных стрел, вошел в помещение, уставленное маленькими столиками, за которыми сидели разные люди, за некоторыми — довольно юные девушки. На каждом столике стоял плакатик с указанием факультета. У столиков толпились выпускники, томясь и медля перед сдачей документов. В зале стоял гул голосов и запах школьного пота.

За столиком с названием «Философский факультет» сидел довольно пожилой мужчина в белой рубашке с грозно закатанными рукавами. Никто не толпился возле этого столика, и тем безудержней я пересек это пространство, как бы выжженное философским скептицизмом.

Я подошел к столику. Человек, не шевелясь, посмотрел на меня.

— Откуда, юноша? — спросил он голосом, усталым от философских побед.

Примерно такой вопрос я ожидал и приступил к намеченному диалогу.

— Из Чегема, — сказал я, стараясь говорить правильно, но с акцентом. Я нарочно назвал дедушкино село, а не город, где мы жили, чтобы сильнее обрадовать его дремучество происхождения. По моему мнению, университет, носящий имя Ломоносова, должен был особенно радоваться таким людям.

— Это что такое? — спросил он, едва заметным движением руки останавливая мою попытку положить на стол документы.

— Чегем — это высокогорное село в Абхазии, — доброжелательно разъяснил я.

Пока все шло по намеченному диалогу. Все, кроме радости по поводу моей дремучести. Но я решил не давать сбить себя с толку мнимой холодностью приема. Я ведь тоже преувеличил высокогорность Чегема, не такой уж он высокогорный, наш милый Чегемчик. Он с преувеличенной холодностью, я с преувеличенной высокогорностью; в конце концов, думал я, он не сможет долго скрывать радости при виде далекого гостя.

— Абхазия — это Аджария? — спросил он как-то рассеянно, потому что теперь сосредоточил внимание на моей руке, держащей документы, чтобы вовремя перехватить мою очередную попытку положить документы на стол.

— Абхазия — это Абхазия, — сказал я с достоинством, но не заносчиво. И снова сделал попытку вручить ему документы.

— А вы знаете, какой у нас конкурс? — снова остановил он меня вопросом.

— У меня медаль, — расплылся я и, не удержавшись, добавил: — Золотая.

— У нас медалистов тоже много, — сказал он и как-то засуетился, зашелестел бумагами, задвигал ящиками стола: то ли искал внушительный список медалистов, то ли просто пытался выиграть время.

— А вы знаете, что у нас обучение только по-русски? — вдруг вспомнил он, бросив шелестеть бумагами.

— Я русскую школу кончил, — ответил я, незаметно убирая акцент. — Хотите, я вам прочту стихотворение?

— Так вам на филологический! — обрадовался он и кивнул: — Вон тот столик.

— Нет, — сказал я терпеливо, — мне на философский. Человек погрустнел, и я понял, что можно положить на стол документы.

— Ладно, читайте. — И он вяло потянулся к документам.

Я прочел стихи Брюсова, которого тогда любил за щедрость звуков.

Мне снилось: мертвенно-бессильный,  
Почти жилец земли могильной,  
Я глухо близился к концу.  
И бывший друг пришел к кровати  
И, бормоча слова проклятий,  
Меня ударил по лицу!

— И правильно сделал, — сказал он, подняв голову и посмотрев на меня.

— Почему? — спросил я, оглушенный собственным чтением и еще не понимая, о чем он говорит.

— Не заводите себе таких друзей, — сказал он не без юмора.

Все еще опьяненный своим чтением и самой картиной потрясающего коварства, я его не понял. Я растерялся, и, кажется, это ему понравилось.

— Пойду узнаю, — сказал он и, шлепнув мои документы на стол, поднялся, — кажется, на вашу нацию есть разнарядка.

Как только он скрылся, я взял свои документы и покинул университет. Я обиделся за стихи и разнарядку. Пожалуй, за разнарядку больше обиделся.

В тот же день я поступил в Библиотечный институт, который по дороге в Москву мне усиленно расхваливала одна девушка из моего вагона.

Если человек из университета все время давал мне знать, что я не дотягиваю до философского факультета, то здесь, наоборот, человек из приемной комиссии испуганно вертел мой аттестат как слишком крупную для этого института и потому подозрительную купюру. Он присматривался к остальным документам, заглядывал мне в глаза, как бы понимая и даже отчасти сочувствуя моему замыслу и прося, в ответ на его сочувствие, проявить встречное сочувствие и хотя бы немного раскрыть этот замысел. Я не раскрывал замысла, и человек куда-то вышел, потом вошел и, тяжело вздохнув, сел на место. Я мрачнел, чувствуя, что переплачиваю, но не знал, как и в каком виде можно получить разницу.

— Хорошо, вы приняты, — сказал мужчина, не то удрученный, что меня нельзя прямо сдать в милицию, не то утешенный тем, что после моего ухода у него будет много времени для настоящей проверки документов.

Этот прекрасный институт в то время был не так популярен, как сейчас, и я был чуть ли не первым медалистом, поступившим в него. Сейчас Библиотечный институт переименован в Институт культуры и пользуется у выпускников большим успехом, что еще раз напоминает нам о том, как бывает важно вовремя сменить вывеску.

Через три года учебы в этом институте мне пришло в голову, что проще и выгодней писать книги, чем заниматься классификацией чужих книг, и я перешел в Литературный институт, обучавший писательскому ремеслу. По окончании его я получил диплом инженера человеческих душ средней квалификации и стал осторожно проламываться в литературу, чтобы не обрушить на себя ее хрупкие и вместе с тем увесистые своды.

Москва, увиденная впервые, оказалась очень похожей на свои бесчисленные снимки и киножурналы. Окрестности города я нашел красивыми, только полное отсутствие гор создавало порой ощущение незащитности. От обилия плоского пространства почему-то уставала спина. Иногда хотелось прислониться к какой-нибудь горе или даже спрятаться за нее.

Москвичи обрадовали меня своей добротой и наивностью. Как потом выяснилось, я им тоже показался наивным. Поэтому мы легко и быстро сошлись характерами. Людям нравятся наивные люди. Наивные люди дают нам

возможность перенести оборонительные сооружения, направленные против них, на более опасные участки. За это мы испытываем к ним фортификационную благодарность.

Кроме того, я заметил, что москвичи даже в будни едят гораздо больше наших, со свойственной им наивностью оправдывая эту особенность тем, что наши по сравнению с москвичами едят гораздо больше зелени.

Единственная особенность москвичей, которая до сих пор осталась мной не разгаданной, — это их постоянный, таинственный интерес к погоде. Бывало, сидишь у знакомых за чаем, слушаешь уютные московские разговоры, тикают стенные часы, лопочет репродуктор, но его никто не слушает, хотя почему-то и не выключают.

— Тише! — встряхивается вдруг кто-нибудь и подымает голову к репродуктору. — Погоду передают.

Все, затаив дыхание, слушают передачу, чтобы на следующий день уличить ее в неточности. В первое время, услышав это тревожное: «Тише!», я вздрагивал, думая, что начинается война или еще что-нибудь не менее катастрофическое. Потом я думал, что все ждут какой-то особенной, неслыханной по своей приятности погоды. Потом я заметил, что неслыханной по своей приятности погоды как будто бы тоже не ждут. Так в чем же дело?

Можно подумать, что миллионы москвичей с утра уходят на охоту или на полевые работы. Ведь у каждого на работе крыша над головой. Нельзя же сказать, что такой испепеляющий, изнурительный в своем постоянстве интерес к погоде объясняется тем, что человеку надо пробежать до троллейбуса или до метро? Согласитесь, это было бы довольно странно и даже недостойно жителей великого города. Тут есть какая-то тайна.

Именно с целью изучения глубинной причины интереса москвичей к погоде я несколько лет назад переселился в Москву. Ведь мое истинное призвание — это открывать и изобретать.

Чтобы не вызывать у москвичей никакого подозрения, чтобы давать им в своем присутствии свободно проявлять свой таинственный интерес к погоде, я и сам делаю вид, что интересуюсь погодой.

— Ну как, — говорю я, — что там передают насчет погоды? Ветер с востока?

— Нет, — радостно отвечают москвичи, — ветер юго-западный до умеренного.

— Ну, если до умеренного, — говорю, — это еще терпимо.

И продолжаю наблюдать, ибо всякое открытие требует терпения и наблюдательности. Но, чтобы открывать и изобретать, надо зарабатывать на жизнь, и я пишу.

Но вот что плохо. Читатель начинает мне навязывать роль юмориста, и я уже сам как-то невольно доигрываю ее. Стоит мне взяться за что-нибудь серьезное, как я вижу лицо читателя с выражением добродетельного терпения, ждущего, когда я наконец начну про смешное.

Я креплюсь, но это выражение добродетельного терпения меня все-таки подтачивает, и я по дороге перестраиваюсь и делаю вид, что про серьезное я начал говорить нарочно, чтобы потом было еще смешней.

Вообще я мечтаю писать вещи без всяких там лирических героев, чтобы сами участники описываемых событий делали, что им заблагорассудится, а я бы сидел в сторонке и только поглядывал на них.

Но чувствую, что пока не могу этого сделать: нет полного доверия. Ведь когда мы говорим человеку, делай все, что тебе заблагорассудится, мы имеем в виду, что ему заблагорассудится делать что-нибудь приятное для нас и окружающих. И тогда это приятное, сделанное как бы без нашей подсказки, делается еще приятней.

Но человек, которому доверили такое дело, должен обладать житейской зрелостью. А если он ею не обладает, ему может заблагорассудиться делать неприятные глупости или, что еще хуже, вообще ничего не делать, то есть пребывать в унылом бездействии.

Вот и приходится ходить по собственному сюжету, приглядывать за героями, стараясь заразить их примером собственной бодрости:

— Веселее, ребята!

В понимании юмора тоже нет полной ясности.

Однажды на теплоходе «Адмирал Нахимов» я ехал в Одессу. Был чудесный сентябрьский день. Солнце кротко светило, словно радуясь, что мы едем в благословенный город Одессу, выдуманный могучим весельем Бабеля.

Я стоял, склонившись над бортовыми поручнями. Нос корабля плавно разрезал и отбрасывал взрыхленные воды. Пенные струи проносились подо мной, издавая соблазнительный шорох тающей пены свежего бочкового пива.

Но тут ко мне подошел мой читатель и тоже склонился над бортовыми поручнями. Пенные струи продолжали проноситься под нами, но восстановить ощущение тающей пены свежего бочкового пива больше не удавалось.

— Простите, — сказал он с понимающей улыбкой, — вы — это вы?

— Да, — говорю, — я — это я.

— Я, — говорит он, все так же понимающе улыбаясь, — вас сразу узнал по кольцу.

— То есть по какому кольцу? — заинтересовался я и перестал слушать пену.

— В журнале печатались статьи с вашими портретами, — объяснил он, — где вы сняты с этим же кольцом.

В самом деле так оно и было. Фотограф одного журнала сделал с меня несколько снимков, и с тех пор журнал несколько лет давал мои рассказы со снимками из этой серии, где я выглядел неунывающим, а главное, нестаревшим женихом с обручальным кольцом, выставленным вперед, подобно тому, как раньше на деревенских фотографиях выставляли вперед запястье с циферблатом часов, на которых, если приглядеться, можно было узнать точное время появления незабвенного снимка.

Я уже совсем было собрался поругаться с редакцией за эту рекламу, но тут обнаружилось, что редакция больше не собирается меня печатать, и необходимость выяснить отношения отпала сама собой.

Пока я предавался этим не слишком веселым воспоминаниям, читатель мой пересказывал мне мои рассказы, упорно именуя их статьями. Дойдя до рассказа «Детский сад», он прямо-таки стал захлебываться от хохота, что в значительной мере улучшило мое настроение.

Честно говоря, мне этот рассказ не казался таким уж смешным, но, если он читателю показался таким, было бы глупо его разубедить в этом. Уподобляясь ему, перескажу содержание рассказа.

Во дворе детского сада росла груша. Время от времени с дерева падали перезревшие плоды. Их подбирали дети и тут же поедали. Однажды один мальчик подобрал особенно большую и красивую грушу. Он хотел ее съесть, но воспитательница отобрала у него грушу и сказала, что она пойдет на общий обеденный компот. После некоторых ко-

лебаний мальчик утешился тем, что его груша пойдет на общий компот.

Выходя из детского сада, мальчик увидел воспитательницу. Она тоже шла домой. В руке она держала сетку. В сетке лежала его груша. Мальчик побежал, потому что ему стыдно было встретиться глазами с воспитательницей.

В сущности, это был довольно грустный рассказ.

— Так что же вас так рассмешило? — спросил я у него.

Он снова затрясся, на этот раз от беззвучного смеха, и махнул рукой — дескать, хватит меня разыгрывать.

— Все-таки я не понимаю, — настаивал я.

— Неужели? — спросил он и слегка выпучил свои и без того достаточно выпуклые глаза.

— В самом деле, — говорю я.

— Так если воспитательница берет грушу домой, представляете, что берет директор детского сада?! — почти выкрикнул он и снова расхохотался.

— При чем тут директор? О нем в рассказе ни слова не говорится, — возразил я.

— Потому и смешно, что не говорится, а подразумевается, — сказал он и как-то странно посмотрел на меня своими выпуклыми, недоумевающими глазами.

Он стал объяснять, в каких случаях бывает смешно прямо сказать о чем-то, а в каких случаях прямо говорить не смешно. Здесь именно такой случай, сказал он, потому что читатель по разнице в должности догадывается, сколько берет директор, потому что при этом отталкивается от груши воспитательницы.

— Выходит, директор берет арбуз, если воспитательница берет грушу? — спросил я.

— Да нет, — сказал он и махнул рукой.

Разговор перешел на посторонние предметы, но я все время чувствовал, что заронил в его душу какие-то сомнения, боюсь, что творческие планы. Во время нашей беседы выяснилось, что он работает техником на мясокомбинате. Я спросил у него, сколько он получает.

— Хватает, — сказал он и обобщенно добавил: — С мяса всегда что-то имеешь.

Я рассмеялся, потому что это прозвучало как фатальное свойство белковых соединений.

— Что тут смешного? — сказал он. — Каждый жить хочет.

Это тоже прозвучало как фатальное свойство белковых соединений.

Я хотел было спросить, что именно он имеет с мяса, чтобы установить, что имеет директор комбината, но не решился.

Он стал держаться несколько суше. Я теперь раздражал его тем, что открыл ему глаза на его более глубокое понимание смешного, и в то же время сделал это нарочно слишком поздно, чтобы он уже не смог со мной состязаться. В конце пути он сурово взял у меня телефон и записал в книжечку.

— Может, позвоню, — сказал он с намеком на вызов.

Каждый день, за исключением тех дней, когда меня не бывает дома, я закрываюсь у себя в комнате, закладываю бумагу в свою маленькую прожорливую «Колибри» и пишу.

Обычно машинка, несколько раз вяло потявкая, надолго замолкает. Домашние делают вид, что стараются создать условия для моей работы, я делаю вид, что работаю. На самом деле в это время я что-нибудь изобретаю или, склонившись над машинкой, прислушиваюсь к телефону в другой комнате. Так деревенские свиньи в наших краях, склонив головы, стоят под плодовыми деревьями, прислушиваясь, где стукнет упавший плод, чтобы вовремя к нему подбежать.

Дело в том, что дочка моя тоже прислушивается к телефону, и если успевает раньше меня подбежать к нему, то ударом кулачка по трубке ловко отключает его. Она считает, что это такая игра, что, в общем, не лишено смысла.

О многих своих открытиях, ввиду их закрытого характера, пока существует враждебный лагерь, я, естественно, не могу рассказать. Но у меня есть ряд ценных наблюдений, которыми я готов поделиться. Я полагаю, чтобы овладеть хорошим юмором, надо дойти до крайнего пессимизма, заглянуть в мрачную бездну, убедиться, что и там ничего нет, и потихоньку возвращаться обратно. След, оставляемый этим обратным путем, и будет настоящим юмором.

Смешное обладает одним, может быть, скромным, но бесспорным достоинством: оно всегда правдиво. Более того, смешное потому и смешно, что оно правдиво. Иначе говоря, не все правдивое смешно, но все смешное правдиво. На этом достаточно сомнительном афоризме я хочу поставить точку, чтобы не договориться до еще более сомнительных выводов.

## ПЕТУХ

В детстве меня не любили петухи. Я не помню, с чего это началось, но, если заводился где-нибудь по соседству воинственный петух, не обходилось без кровопролития.

В то лето я жил у своих родственников в одной из горных деревень Абхазии. Вся семья — мать, две взрослые дочери, два взрослых сына — с утра уходили на работу: кто на прополку кукурузы, кто на ломку табака. Я оставался один. Обязанности мои были легкими и приятными. Я должен был накормить козлят (хорошая вязанка шумящих листьями ореховых веток), к полудню принести из родника свежей воды и вообще присматривать за домом. Присматривать особенно было нечего, но приходилось изредка покрикивать, чтобы ястреба чувствовали близость человека и не нападали на хозяйских цыплят. За это мне разрешалось, как представителю хилого городского племени, выпивать пару свежих яиц из-под курицы, что я и делал добросовестно и охотно.

На тыльной стороне кухни висели плетеные корзины, в которые неслись куры. Как они догадывались нестись именно в эти корзины, оставалось для меня тайной. Я вставал на цыпочки и нащупывал яйцо. Чувствуя себя одновременно багдадским вором и удачливым ловцом жемчуга, я высасывал добычу, тут же надбив ее о стену. Где-то рядом обреченно кудахтали куры. Жизнь казалась осмысленной и прекрасной. Здоровый воздух, здоровое питание — и я наливался соком, как тыква на хорошо унавоженном огороде.

В доме я нашел две книги: Майн-Рида «Всадник без головы» и Вильяма Шекспира «Трагедии и комедии». Первая книга потрясла меня. Имена героев звучали, как сладостная музыка: Морис-мустангер, Луиза Поиндекстер, капитан Кассий Колхаун, Эль-Койот и, наконец, во всем блеске испанского великолепия, Исидора Коваруби де Лос-Льянос.

«— Просите прощения, капитан, — сказал Морис-мустангер и приставил пистолет к его виску.

— О, ужас! Он без головы!

— Это мираж! — воскликнул капитан».

Книгу я прочел сначала до конца, с конца до начала и дважды по диагонали.

Трагедии Шекспира показались мне смутными и бессмысленными. Зато комедии полностью оправдали занятие автора сочинительством. Я понял, что не шуты существуют при королевских дворах, а королевские дворы при шутах.

Домик, в котором мы жили, стоял на холме, кругло-суточно продувался ветрами, был сух и крепок, как настоящий горец.

Под карнизом небольшой террасы лепились комья ласточкиных гнезд. Ласточки стремительно и точно влетали в террасу, притормаживая, трепетали у гнезда, где, распахнув клювы, чуть не вываливаясь, тянулись к ним жадные, крикливые птенцы. Их прожорливость могла соперничать только с неумимостью родителей. Иногда, отдав корм птенцу, ласточка, слегка запрокинувшись, сидела несколько мгновений у края гнезда. Неподвижное, стрельчатое тело, и только голова осторожно поворачивается во все стороны. Мгновение — и она, срываясь, падает, потом, плавно и точно вывернувшись, выныривает из-под террасы.

Куры мирно паслись во дворе, чирикали воробьи и цыплята. Но демоны мятежа не дремали. Несмотря на мои предупредительные крики, почти ежедневно появлялся ястреб. То пикируя, то на бреющем полете он подхватывал цыпленка, утяжеленными мощными взмахами крыльев набирал высоту и медленно удалялся в сторону леса. Это было захватывающее зрелище, я иногда нарочно давал ему уйти и только тогда кричал для очистки совести. Поза цыпленка, уносимого ястребом, выражала ужас и глупую покорность. Если я вовремя поднимал шум, ястреб промахивался или ронял на лету свою добычу. В таких случаях мы находили цыпленка где-нибудь в кустах, контуженного страхом, с остекленевшими глазами.

— Не жилец, — говорил один из моих братьев, весело отсекал ему голову и отправлял на кухню.

Вожаком куриного царства был огромный рыжий петух. Самодовольный, пышный и коварный, как восточный деспот. Через несколько дней после моего появления стало ясно, что он ненавидит меня и только ищет повода для открытого столкновения. Может быть, он замечал, что я поедая яйца, и это оскорбляло его мужское самолюбие. Или его бесила моя нерадливость во время нападения ястребов? Я думаю, и то и другое действовало на него, а главное, по его мнению, появился человек, который пытается разделить с ним власть над курами. Как и всякий деспот, этого он не мог потерпеть.

Я понял, что двоевластие долго продолжаться не может, и, готовясь к предстоящему бою, стал приглядываться к нему.

Петуху нельзя было отказать в личной храбрости. Во время ястребиных налетов, когда куры и цыплята, кудахтая и крича, разноцветными брызгами летели во все стороны, он один оставался во дворе, и, гневно клопоча, пытался восстановить порядок в своем робком гареме. Он делал даже несколько решительных шагов в сторону летающей птицы; но так как идущий не может догнать летящего, это производило впечатление пустой бравады.

Обычно он пасся во дворе или в огороде в окружении двух-трех фавориток, не выпуская, однако, из виду и остальных кур. Порою, вытянув шею, он посматривал в небо: нет ли опасности?

Вот скользнула по двору тень парящей птицы или раздалось карканье вороны, он воинственно вскидывает голову, озирается и дает знак быть бдительными. Куры испуганно прислушиваются, иногда бегут, ища укрытое место. Чаще всего это была ложная тревога, но, держа сожителей в состоянии нервного напряжения, он подавлял их волю и добивался полного подчинения.

Разгребая жилистыми лапами землю, он иногда находил какое-нибудь лакомство и громкими криками призывал кур на пиршество.

Пока подбежавшая курица клевала его находку, он успевал несколько раз обойти ее, напыщенно волоча крыло и как бы захлебываясь от восторга. Затея эта обычно кончалась насильем. Курица растерянно отряхивалась, стараясь прийти в себя и осмыслить случившееся, а он победно и сыто озирался.

Если подбегала не та курица, которая приглянулась ему на этот раз, он загоразживал свою находку или отгонял курицу, продолжая урчащими звуками призывать свою новую возлюбленную. Чаще всего это была опрятная белая курица, худенькая, как цыпленок. Она осторожно подходила к нему, вытягивала шею и, ловко выклевав находку, пускалась наутек, не проявляя при этом никаких признаков благодарности.

Перебирая тяжелыми лапами, он постыдно бежал за нею, и, даже чувствуя постыдность своего положения, он продолжал бежать, на ходу стараясь хранить солидность. Догнать ее обычно ему не удавалось, и он в конце концов останавливался, тяжело дыша, косился в мою сторону и делал вид, что ничего не случилось, а пробежка имела самостоятельное значение.

Между прочим, нередко призывы пировать оказывались сплошным надувательством. Клевать было нечего, и куры об этом знали, но их подводило извечное женское любопытство.

С каждым днем он все больше и больше наглед. Если я переходил двор, он бежал за мною некоторое время, чтобы испытать мою храбрость. Чувствуя, что спину охватывает морозец, я все-таки останавливался и ждал, что будет дальше. Он тоже останавливался и ждал. Но гроза должна была разразиться.

Однажды, когда я обедал на кухне, он вошел и встал у дверей. Я бросил ему несколько кусков мамалыги, но, видимо, напрасно. Он склевал подачку и всем своим видом давал понять, что о примирении не может быть и речи.

Делать было нечего. Я замахнулся на него головешкой, но он только подпрыгнул, вытянул шею наподобие гусака и уставился ненавидящими глазами. Тогда я швырнул в него головешкой. Она упала возле него. Он подпрыгнул еще выше и ринулся на меня, извергая петушиные проклятья. Горящий, рыжий ком ненависти летел на меня. Я успел заслониться табуреткой. Ударившись о нее, он рухнул возле меня, как поверженный дракон. Крылья его, пока он вставал, бились о земляной пол, выбивая струи пыли, и обдавали мои ноги холодком боевого ветра.

Я успел переменить позицию и отступал в сторону двери, прикрываясь табуреткой, как римлянин щитом.

Когда я переходил двор, он несколько раз бросался на меня. Каждый раз, взлетая, он пытался, как мне казалось, выключить мне глаз. Я удачно прикрывался табуреткой, и он, ударившись о нее, шлепался на землю. Ошарапанные руки мои кровоточили, а тяжелую табуретку все труднее было держать. Но в ней была моя единственная защита.

Еще одна атака — и петух мощным взмахом крыльев взлетел, но не ударился о мой щит, а неожиданно уселся на него.

Я бросил табуретку, несколькими прыжками достиг террасы и дальше — в комнату, захлопнув за собой дверь.

Грудь моя гудела, как телеграфный столб, по рукам лилась кровь. Я стоял и прислушивался: я был уверен, что проклятый петух стоит, притаившись за дверью. Так оно и было. Через некоторое время он отошел от дверей и стал прохаживаться по террасе, властно цокая железными когтями. Он звал меня в бой, но я предпочел отсиживаться в крепости. Наконец ему надоело ждать, и он, вскочив на перила, победно закукарекал.

Братья мои, узнав о моей баталии с петухом, стали устраивать ежедневные турниры. Решительного преимущества никто из нас не добился, мы оба ходили в ссадинах и кровоподтеках.

На мясистом, как ломоть помидора, гребешке моего противника нетрудно было заметить несколько меток от палки; его пышный, фонтанирующий хвост порядочно ссохся, тем более нагло выглядела его самоуверенность.

У него появилась противная привычка по утрам кукарекать, взгромоздившись на перила террасы прямо под окном, где я спал.

Теперь он чувствовал себя на террасе, как на оккупированной территории.

Бои проходили в самых различных местах: во дворе, в огороде, в саду. Если я влезал на дерево за инжиром или за яблоками, он стоял под ним и терпеливо дожидался меня.

Чтобы сбить с него спесь, я пускался на разные хитрости. Так я стал подкармливать кур. Когда я их звал, он приходил в ярость, но куры предательски покидали его. Уговоры не помогали. Здесь, как и везде, отвлеченная пропаганда легко посрамлялась явью выгоды. Пригоршни

кукурузы, которые я швырял в окно, побеждали родовую привязанность и семейные традиции доблестных яйценок. В конце концов являлся и сам паша. Он гневно укорял их, а они, делая вид, будто стыдятся своей слабости, продолжали клевать кукурузу.

Однажды, когда тетка с сыновьями работала на огороде, мы с ним схватились. К этому времени я уже был опытным и хладнокровным бойцом. Я достал разлапую палку и, действуя ею, как трезубцем, после нескольких неудачных попыток прижал петуха к земле. Его мощное тело неистово билось, и содрогания его, как электрический ток, передавались мне по палке.

Безумство храбрых вдохновляло меня. Не выпуская из рук палки и не ослабляя ее давления, я нагнулся и, поймав мгновение, прыгнул на него, как вратарь на мяч. Я успел изо всех сил сжать ему глотку. Он сделал мощный пружинистый рывок и ударом крыла по лицу оглушил меня на одно ухо. Страх удесятерил мою храбрость. Я еще сильнее сжал ему глотку. Жилистая и плотная, она дрожала и дергалась у меня в ладони, и ощущение было такое, как будто я держу змею. Другой рукой я обхватил его лапы, клешнястые когти шевелились, стараясь нащупать тело и врезаться в него.

Но дело было сделано. Я выпрямился, и петух, издавая сдавленные вопли, повис у меня на руках.

Все это время братья вместе с теткой хохотали, глядя на нас из-за ограды. Что ж, тем лучше! Мощные волны радости пронизывали меня. Правда, через минуту я почувствовал некоторое смущение. Победенный ничуть не смирился, он весь клокотал мстительной яростью. Отпустить — набросится, а держать его бесконечно невозможно.

— Перебрось его в огород, — посоветовала тетка.

Я подошел к изгороди и швырнул его окаменевшими руками.

Проклятие! Он, конечно, не перелетел через забор, а уселся на него, распластав тяжелые крылья. Через мгновение он ринулся на меня. Это было слишком. Я бросился наутек, а из груди моей вырвался древний спасительный клич убегающих детей:

— Ма-ма!

Надо быть или глупым, или очень храбрым, чтобы поворачиваться спиной к врагу. Я это сделал не из храбрости, за что и поплатился.

Пока я бежал, он несколько раз догонял меня, наконец, я споткнулся и упал. Он вскочил на меня, он катался по мне, надсадно хрипя от кровавого наслаждения. Вероятно, он продолбил бы мне позвоночник, если бы подбежавший брат ударом мотыги не забросил его в кусты. Мы решили, что он убит, однако к вечеру он вышел из кустов, притихший и опечаленный.

Прсмывая мои раны, тетка сказала:

— Видно, вам вдвоем не ужиться. Завтра мы его за- жарим.

На следующий день мы с братом начали его ловить. Бедняга чувствовал недоброе. Он бежал от нас с быстротою страуса. Он перелетал через огород, прятался в кустах, наконец, забился в подвал, где мы его и выловили. Вид у него был затравленный, в глазах тоскливый укор. Казалось, он хотел сказать: «Да, мы с тобой враждовали. Это была честная мужская война, но предательства я от тебя не ожидал». Мне стало как-то не по себе, и я отвернулся. Через несколько минут брат отсек ему голову. Тело петуха запрыгало и забилось, а крылья, судорожно трепыхаясь, выгибались, как будто хотели прикрыть горло, откуда хлестала и хлестала кровь. Жить стало безопасно и... скучно.

Впрочем, обед удался на славу, а острая ореховая подлива растворила остроту моей неожиданной печали.

Теперь я понимаю, что это был замечательный боевой петух, но он не вовремя родился. Эпоха петушиных боев давно прошла, а воевать с людьми — пропащее дело.

## ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД

По восточному обычаю в нашем доме никогда не ели свинину. Не ели взрослые и детям строго-настрого запрещали. Хотя другая заповедь Магомета — относительно алкогольных напитков — нарушалась, как я теперь понимаю, безудержно, по отношению к свинине не допускалось никакого либерализма.

Запрет порождал пламенную мечту и ледяную гордость. Я мечтал попробовать свинину. Запах жареной свинины доводил почти до обморока. Я долго простаивал у витрин магазинов и смотрел на потные колбасы со сморщенными и крапчатыми надрезами. Я представлял, как сдираю с них кожуру и вонзаю зубы в сочную пружинистую мякоть. Я до того ясно представлял себе вкус колбасы, что, когда попробовал ее позже, даже удивился, насколько точно я угадал его фантазией.

Конечно, бывала возможность попробовать свинину еще в детском саду или в гостях, но я никогда не нарушал принятого порядка.

Помню, в детском саду, когда нам подавали плов со свининой, я вылавливал куски мяса и отдавал их своим товарищам. Муки жажды побеждались сладостью самоотречения. Я как бы чувствовал идейное превосходство над своими товарищами. Приятно было нести в себе некоторую загадку, как будто ты знаешь что-то такое недоступное окружающим. И тем сильнее я продолжал мечтать о греховном соблазне.

В нашем дворе жила медсестра. Звали ее тетя Соня. Почему-то все мы тогда считали, что она доктор. Вообще, взрослея, замечаешь, как вокруг тебя дяди и тети постепенно понижаются в должностях.

Тетя Соня была пожилой женщиной с коротко остриженными волосами, с лицом, застывшим в давней скорби. Говорила она всегда тихим голосом. Казалось, она давно поняла, что в жизни нет ничего такого, из-за чего стоило бы громко разговаривать.

Во время обычных в нашем дворе коммунальных баталий с соседями она свой голос почти не повышала, что создавало дополнительные трудности для противников, так как часто, не дослышав её последние слова, они теряли путеводную нить скандала и сбивались с темпа.

Наши семьи были в хороших отношениях. Мама говорила, что тетя Соня спасла меня от смерти. Когда я заболел какой-то тяжелой болезнью, она с мамой дежурила возле меня целый месяц. Я почему-то не испытывал никакой благодарности за спасенную жизнь, но из почтительности, когда они об этом заговаривали, как бы радовался тому, что жив.

По вечерам она часто сидела у нас дома и рассказывала историю своей жизни, главным образом о первом своем муже, убитом в гражданскую войну. Рассказ этот я слышал много раз и все-таки замирал от ужаса в том месте, где она говорила, как среди трупов ищет и находит тело своего любимого. Здесь она обычно начинала плакать, и вместе с нею плакали моя мама и старшая сестра. Они принимались ее успокаивать, усаживали пить чай или подавали воды.

Меня всегда поражало, как быстро после этого женщины успокаивались и могли весело и как-то даже освеженно болтать о всяких пустяках. Потом она уходила, потому что должен был вернуться с работы муж. Звали его дядя Шура.

Мне очень нравился дядя Шура. Нравилась черная кудлатая голова с чубом, свисающим на лоб, опрятно закатанные рукава на крепких руках, даже сутулость его. Это была не конторская, а ладная, доброкачественная сутулость, какая бывает у хороших старых рабочих, хотя он не был ни старым, ни рабочим.

Вечерами, приходя с работы, он вечно что-нибудь чинил: настольные лампы, электрические утюги, радиоприемники и даже часы. Все эти вещи приносились соседями и чинились, разумеется, бесплатно.

Тетя Соня сидела по другую сторону стола, курила и подтрунивала над ним в том смысле, что он берется не за свое дело, ничего не получится и тому подобное.

— А посмотрим, как это не получится, — говаривал дядя Шура сквозь зубы, потому что у него во рту была папироса. Он легко и уверенно повертывал в руках очеред-

ную починку, на ходу сдувая с нее пыль, и вдруг заглядывал на нее с какого-то совсем неожиданного бока.

— А вот так вот и не получится, осрамишься, — отвечала тетя Соня и, пуская изо рта надменную струю дыма, угрюмо запахивалась в халат.

В конце концов ему удавалось завести часы, в приемнике возникали трески, обрывки музыки, а он подмигивал мне и говорил:

— Ну что? Получилось у нас или нет?

Я всегда радовался за него и улыбкой давал знать, что я тут ни при чем, но ценю то, что он берет меня в свою компанию.

— Ладно, ладно, расхвастался, — говорила тетя Соня, — убирай со стола, будем чай пить.

Все же в голосе ее я улавливал тайную, глубоко скрытую гордость, и мне приятно было за дядю Шуру, и я думал, что он, наверное, не хуже того героя гражданской войны, которого никак не может забыть тетя Соня.

Однажды, когда я, как обычно, сидел у них, зачем-то пришла сестра, и они оставили ее пить чай. Тетя Соня накрыла на стол, нарезала ломтями нежно-розовое сало, поставила горчицу и разлила чай. Они и до этого часто ели сало, предлагали и мне, но я неизменно и твердо отказывался, что всегда почему-то веселило дядю Шуру. Предлагали и на этот раз, не особенно, правда, настаивая. Дядя Шура положил на хлеб несколько ломтей сала и подал сестре. Слегка поломавшись, она взяла у него этот позорный бутерброд и стала есть. Струя чая, который я начал пить, от возмущения затвердела у меня в глотке, и я с трудом ее проглотил.

— Вот видишь, — сказал дядя Шура. — Эх ты, монах!

Я чувствовал, с каким удовольствием она ест. Это было видно и по тому, как она ловко и опрятно слизывала с губ крошки хлеба, оскверненного гяурским лакомством, и по тому, как она глотала каждый кусок, глуповато замирая и медля, как бы прислушиваясь к действию, которое он производит во рту и в горле. Неровно нарезанные ломти сала были тоньше с того края, где она откусывала. Вернейший признак того, что она получала удовольствие, потому что все нормальные дети, когда едят, оставляют напоследок лучший кусок. Одним словом, все было ясно.

Теперь она подбиралась к краю бутерброда с самым толстым куском сала, планомерно усиливая блаженство. При этом она с чисто женским коварством рассказывала про то, как мой брат выскочил в окно, когда учительница пришла домой жаловаться на его поведение. Рассказ ее имел двоякую цель: во-первых, отвлечь внимание от того, что сама она сейчас делала, и, во-вторых, тончайшим образом польстить мне, так как всем было известно, что на меня жаловаться учительница не приходила и тем более у меня не было причин убежать от нее в окно.

Рассказывая, сестра поглядывала на меня, стараясь угадать, продолжаю ли я следить за ней или, увлеченный ее рассказом, забыл про то, что она сейчас делает. Но взгляд мой совершенно ясно говорил, что я продолжаю бдительно следить за ней. В ответ она вытаращиwała глаза, словно удивляясь, что я могу столько времени обращать внимание на такие пустяки. Я усмехался, смутно намекая на предстоящую кару.

В какое-то мгновение мне показалось, что возмездие наступило: сестра поперхнулась. Я заинтересованно следил, что будет дальше. Дядя Шура похлопал ее по спине, она покраснела и перестала откашливаться, показывая, что средство помогло, а неловкость ее была не такой уж значительной. Но я чувствовал, что кусок, который застрял у нее в горле, все еще на месте... Делая вид, что порядок восстановлен, она снова откусила бутерброд.

«Жуй, жуй, — думал я, — посмотрим, как ты его проглотить».

Но, видимо, боги решили перенести возмездие на другое время. Сестра благополучно проглотила этот кусок, по видимому, она даже затолкала им тот, предыдущий, потому что облегченно вздохнула и даже повеселела. Теперь она особенно вдумчиво жевала и после каждого куска так долго облизывала губы, что отчасти просто показывала мне язык.

Наконец она дошла до края бутерброда с самым толстым куском сала. Прежде чем отправить его в рот, она откусила не прикрытый салом краешек хлеба. Таким образом, она усиливала впечатление от последнего куска.

И вот она его проглотила, облизнув губы, словно вспоминая удовольствие, которое она получила, и показывая, что никаких следов грехопадения не осталось.

Все это длилось не так долго, как я рассказываю, и внешне было почти незаметно. Во всяком случае, дядя Шура и тетя Соня, по-моему, ничего не заметили.

Покончив с бутербродом, сестра приступила к чаю, продолжая делать вид, что ничего особенного не случилось. Как только она взялась за чай, я допил свой, чтобы ничего общего между нами не было. Я отказался и от печенья, чтобы страдать до конца и вообще в ее присутствии не испытывать никаких радостей. К тому же я был слегка обижен на дядю Шуру, потому что мне он предлагал угощение не так настойчиво, как сестре. Я бы, конечно, не взял, но для нее это был бы хороший урок принципиальности.

Словом, настроение было испорчено, и я, как только выпил чай, ушел домой. Меня просили остаться, но я был непреклонен.

— Мне надо уроки делать, — сказал я с видом праведника, давая другим полную свободу заниматься непристойностями.

Особенно просила сестра. Она была уверена, что дома я первым делом наябедничаю, к тому же она боялась одна ночью переходить двор.

Придя домой, я быстро разделся и лег. Я был погружен в завистливое и сладостное созерцание отступничества сестры. Странные видения проносились у меня в голове. Вот я красный партизан, попавший в плен к белым, и они заставляют меня есть свинину. Пытают, а я не ем. Офицеры удивляются на меня, качают головами: что за мальчик? Я сам себе удивляюсь, но не ем, и все. Убивать убивайте, а есть не заставляйте.

Но вот скрипнула дверь, в комнату вошла сестра и сразу же спросила обо мне.

— Лег спать, — сказала мама, — что-то он скучный пришел. Ничего не случилось?

— Ничего, — ответила она и подошла к моей постели.

Я боялся, что она сейчас начнет уговаривать меня и все такое прочее. О прощении не могло быть и речи, но мне не хотелось мельчить состояние, в котором я находился. Поэтому я сделал вид, что сплю. Она постояла немного, а потом тихонько погладила меня по голове. Но я повернулся на другой бок, показывая, что и во сне узнаю предательскую руку. Она еще немного постояла и отошла.

Мне показалось, что она чувствует раскаянье и теперь не знает, как искупить свою вину.

Я слегка пожалел ее, но, видно, напрасно. Через минуту она что-то полушепотом рассказывала маме, и они то и дело смеялись, стараясь при этом не шуметь, якобы забываясь обо мне. Постепенно они успокоились и стали укладываться.

Было ясно, что она довольна этим вечером. И сало поела, и я ничего не сказал, да еще и маму развеселила. Ну, ничего, думал я, придет и наше время.

На следующий день мы всей семьей сидели за столом и ждали отца к обеду. Он опоздал и даже рассердился на маму за то, что дожидалась его. В последнее время у него что-то не ладилось на работе, и он часто бывал хмурым и рассеянным.

До этого я готовился за обедом рассказать о проступке сестры, но теперь понял, что говорить не время. Все же я поглядывал иногда на сестру и делал вид, что собираюсь рассказать. Я даже раскрывал рот, но потом говорил что-нибудь другое. Как только я раскрывал рот, она опускала глаза и наклоняла голову, готовясь принять удар. Я чувствовал, что держать ее на грани разоблачения даже приятней, чем разоблачать.

Она то бледнела, то вспыхивала. Порой надменно встряхивала головой, но тут же умоляющими глазами просила прощения за этот бунтарский жест. Она плохо ела, и, не притронувшись, отодвинула от себя тарелку с супом. Мама стала уговаривать ее, чтобы она доела свой суп.

— Ну, конечно, — сказал я, — она вчера так наелась у дяди Шуры...

— А что ты ела? — спросил брат, как всегда ничего не понимая.

Мать тревожно посмотрела на меня и незаметно для отца покачала головой. Сестра молча придвинула тарелку и стала доедать свой суп. Я вошел во вкус. Я переложил ей из своей тарелки вареную луковицу. Вареный лук — это кошмар детства, мы все его ненавидели. Мать строго и вопросительно посмотрела на меня.

— Она любит лук, — сказал я. — Правда, ты любишь лук? — ласково спросил я у сестры.

Она ничего не ответила, только еще ниже наклонилась над своей тарелкой.

— Если ты любишь, возьми и мой, — сказал брат и, поймав ложкой лук из своего супа, стал перекладывать в ее тарелку. Но тут отец так посмотрел на него, что ложка остановилась в воздухе и трусливо повернула обратно.

Между первым и вторым я придумал себе новое развлечение. Я обложил кусок хлеба пяточками огурца из салата и стал есть, деликатно покусывая свой зеленый бутерброд, временами как бы замирая от удовольствия. Я считал, что очень остроумно восстановил картину падения сестры. Она поглядела на меня с недоумением, словно не узнавая этой картины и не признавая, что она была такой уж позорной. Дальше этого ее протест не подымался.

Одним словом, обед прошел великолепно. Добродетель шантажировала, а порок опускал голову. После обеда пили чай. Отец заметно повеселел, а вместе с ним повеселели и все мы. Особенно радовалась сестра. Щеки у нее разругались, глаза так и полыхали. Она стала рассказывать какую-то историю, то и дело призывая меня в свидетели, как будто между нами ничего не произошло. Меня слегка корбило от такой фамильярности. Мне казалось, что человек с ее прошлым мог бы вести себя поскромней, не выскакивать вперед, а подождать, пока ту же историю расскажут более достойные люди. Я уже хотел был произвести небольшую экзекуцию, но тут отец развернул газету и достал пачку новеньких тетрадей.

Надо сказать, что в те довоенные годы тетради было так же трудно достать, как мануфактуру и некоторые продукты. А это были лучшие глянцевые тетради с четкими красными полями, с тяжелыми прохладными листиками, голубоватыми, как молоко.

Их было всего девять штук, и отец раздал их нам поровну, каждому по три тетради. Я почувствовал, что настроение у меня начинает портиться. Такая уравниловка показалась мне величайшей несправедливостью.

Дело в том, что я хорошо учился, иногда бывал даже отличником. Среди родственников и знакомых меня выдавали даже за круглого отличника, может быть, для того, чтобы уравновесить впечатление от нездоровой славы брата.

В школе он считался одним из самых буйных лоботрясов. Способность оценивать свои поступки, как сказал его учитель, у него резко отставала от темперамента. Я

представлял себе его темперамент в виде маленького хулиганистого чертика, который все время бежит впереди, а брат никак не может его догнать. Может быть, чтобы догнать его, он с четвертого класса мечтал стать шофером. Каждый клочок бумаги он заполнял где-то вычитанным заявлением:

«Директору транспортной конторы.

Прошу принять меня на работу во вверенную Вам организацию, так как я являюсь шофером третьего класса».

Впоследствии ему удалось осуществить эту пламенную мечту. Вверенная организация дала ему машину. Но оказалось, чтобы догнать свой темперамент, ему приходится мчаться с недозволенной скоростью, и в конце концов ему пришлось менять свою профессию.

И вот меня, почти отличника, приравнивали к брату, который, начиная с последней страницы, будет заполнять эти прекрасные тетради своими дурацкими заявлениями.

Или с сестрой, которая вчера уплетала сало, а сегодня получает ничем не заслуженный подарок. Я отодвинул от себя тетради и сидел, накупившись, чувствуя, как тяжелые, а главное, унижительные слезы обиды перехватывают горло. Отец утешал, уговаривал, обещал повезти рыбачить на горную реку. Ничто не помогало. Чем сильнее меня утешали, тем сильнее я чувствовал, что несправедливо обойден.

— А у меня две промокашки! — неожиданно закричала сестра, раскрывая одну из своих тетрадей.

Это было последней соломинкой. Может быть, не окажись у нее этой лишней промокашки, не случилось бы того, что случилось.

Я встал и дрожащим голосом сказал, обращаясь к отцу: — Она вчера ела сало...

В комнате установилась неприличная тишина. Я со страхом ощутил, что сделал что-то не так. То ли неясно выразился, то ли слишком близко оказались великие предначертания Магомета и маленькое желание овладеть чужими тетрадями.

Отец глядел на меня тяжелым взглядом из-под припухлых век. Глаза его медленно наливались яростью. Я понял, что взгляд этот ничего хорошего мне не обещает. Я еще сделал последнюю жалкую попытку исправить положение и направить его ярость в нужную сторону.

— Она вчера ела сало у дяди Шуры, — пояснил я в отчаянии, чувствуя, что все проваливается.

В следующее мгновение отец схватил меня за уши, потрянул мою голову и, словно удивившись, что она не отваливается, приподнял меня и бросил на пол. Я успел ощутить просверкнувшую боль и услышал хруст вытягивающихся ушей.

— Сукин сын! — крикнул отец. — Еще предателей мне в доме не хватало!

Схватив кожаную тужурку, он вышел из комнаты и так хлопнул дверью, что штукатурка посыпалась со стены. Помню, больше всего меня потрясли не боль и не слова, а то выражение брезгливой ненависти, с которой он схватил меня за уши. С таким выражением на лице обычно забивают змею.

Ошеломленный случившимся, я долго лежал на полу. Мама пыталась меня поднять, а брат, придя в неистовое возбуждение, бегал вокруг меня и, показывая на мои уши, восторженно орал:

— Наш отличник!

Я очень любил отца, и он впервые меня наказал.

С тех пор прошло много лет. Я давно ем общедоступную свинину, хотя, кажется, не сделался от этого счастливей. Но урок не прошел даром. Я на всю жизнь понял, что никакой высокий принцип не может оправдать подлости и предательства, да и всякое предательство — это волосатая гусеница маленькой зависти, какими бы принципами оно ни прикрывалось.

## ТРИНАДЦАТЫЙ ПОДВИГ ГЕРАКЛА

Все математики, с которыми мне приходилось встречаться в школе и после школы, были людьми неряшливыми, слабохарактерными и довольно гениальными. Так что утверждение насчет того, что Пифагоровы штаны во все стороны равны, вряд ли абсолютно точно.

Возможно, у самого Пифагора так оно и было, но его последователи, наверно, об этом забыли и мало обращали внимания на свою внешность.

И все-таки был один математик в нашей школе, который отличался от всех других. Его нельзя было назвать ни слабохарактерным; ни тем более неряшливым. Не знаю, был ли он гениален — сейчас это трудно установить. Я думаю, скорее всего был.

Звали его Харлампий Диогенович. Как и Пифагор, он был по происхождению грек. Появился он в нашем классе с нового учебного года. До этого мы о нем не слышали и даже не знали, что такие математики могут быть.

Он сразу же установил в нашем классе образцовую тишину. Тишина стояла такая жуткая, что иногда директор испуганно распахивал дверь, потому что не мог понять, на месте мы или сбежали на стадион.

Стадион находился рядом со школьным двором и постоянно, особенно во время больших состязаний, мешал педагогическому процессу. Директор даже писал куда-то, чтобы его перенесли в другое место. Он говорил, что стадион нервирует школьников. На самом деле нас нервировал не стадион, а комендант стадиона дядя Вася, который безошибочно нас узнавал, даже если мы были без книжек, и гнал нас оттуда со злостью, не угасающей с годами.

К счастью, нашего директора не послушались и стадион оставили на месте, только деревянный забор заменили каменным. Так что теперь приходилось перелезать и тем, которые раньше смотрели на стадион через щели в деревянной ограде.

Все же директор наш напрасно боялся, что мы можем сбежать с урока математики. Это было просто невыносимо. Это было все равно, что подойти к директору на перемене и молча скинуть с него шляпу, хотя она всем порядочно надоела. Он всегда, и зимой и летом, ходил в одной шляпе, вечнозеленой, как магнолия. И всегда чего-нибудь боялся.

Со стороны могло показаться, что он больше всего боялся комиссии из горно, на самом деле он больше всего боялся нашего завуча. Это была демоническая женщина. Когда-нибудь я напишу о ней поэму в байроновском духе, но сейчас я рассказываю о другом.

Конечно, мы никак не могли сбежать с урока математики. Если мы вообще когда-нибудь и сбежали с урока, то это был, как правило, урок пения.

Бывало, только входит наш Харлампий Диогенович в класс, сразу все затихают, и так до самого конца урока. Правда, иногда он заставлял нас смеяться, но это был не стихийный смех, а веселье, организованное сверху самим же учителем. Оно не нарушало дисциплины, а служило ей, как в геометрии доказательство от обратного.

Происходило это примерно так. Скажем, иной ученик чуть припоздает на урок, ну, примерно, на полсекунды после звонка, а Харлампий Диогенович уже входит в дверь. Бедный ученик готов провалиться сквозь пол. Может, и провалился бы, если б прямо под нашим классом не находилась учительская.

Иной учитель на такой пустяк не обратит внимания, другой сгоряча выругает, но только не Харлампий Диогенович.

В таких случаях он останавливался в дверях, перекладывал журнал из руки в руку и жестом, исполненным уважения к личности ученика, указывал на проход.

Ученик мнется, его растерянная физиономия выражает желание как-нибудь незаметней проскользнуть в дверь после учителя. Зато лицо Харлампия Диогеновича выражает радостное гостеприимство, одержанное приличием и пониманием необычности этой минуты. Он дает знать, что само появление такого ученика — редчайший праздник для нашего класса и лично для него, Харлампия Диогеновича, что его никто не ожидал, и раз уж он пришел, никто не посмеет его упрекнуть в этом маленьком опоздании, тем более он, скромный учитель, который, конечно же, прой-

дет в класс после такого замечательного ученика и сам закроет за ним дверь в знак того, что дорогого гостя не скоро отпустят.

Все это длится несколько секунд, и в конце концов ученик, неловко протиснувшись в дверь, спотыкающейся походкой идет на свое место.

Харлампий Диогенович смотрит ему вслед и говорит что-нибудь великолепное, например:

— Принц Уэльский.

Класс хохочет. И хотя мы не знаем, кто такой принц Уэльский, мы понимаем, что в нашем классе он никак не может появиться. Ему просто здесь нечего делать, потому что принцы в основном занимаются охотой за оленями. И если уж ему надоест охотиться за своими оленями и он захочет посетить какую-нибудь школу, то его обязательно поведут в первую школу, что возле электростанции. Потому что она образцовая. В крайнем случае, если б ему вздумалось прийти именно к нам, нас бы давно предупредили и подготовили класс к его приходу.

Потому-то мы и смеялись, понимая, что наш ученик никак не может быть принцем, тем более каким-то Уэльским.

Но вот Харлампий Диогенович садится на место. Класс мгновенно смолкает. Начинается урок.

Большоголовый, маленького роста, аккуратно одетый, тщательно выбритый, он властно и спокойно держал класс в руках. Кроме журнала, у него был блокнотик, куда он что-то вписывал после опроса. Я не помню, чтобы он на кого-нибудь кричал или уговаривал заниматься, или грозил вызвать родителей в школу. Все эти штучки были ему ни к чему.

Во время контрольных работ он и не думал бегать между рядами, заглядывать в парты или там бдительно вскидывать голову при всяком шорохе, как это делали другие. Нет. Он спокойно читал себе что-нибудь или перебирал четки с бусами, желтыми, как кошачьи глаза.

Списывать у него было почти бесполезно, потому что он сразу узнавал списанную работу и начинал высмеивать ее. Так что списывали мы только в самом крайнем случае, если уж никакого выхода не было.

Бывало, во время контрольной работы оторвется от своих четок или книги и говорит:

— Сахаров, пересядьте, пожалуйста, к Авдеенко.

Сахаров встает и смотрит на Харлампия Диогеновича вопросительно. Он не понимает, зачем ему, отличнику, пересаживаться к Авдеенко, который плохо учится.

— Пожалейте Авдеенко, он может сломать шею.

Авдеенко тупо смотрит на Харлампия Диогеновича, как бы не понимая, а может быть, и в самом деле не понимая, почему он может сломать шею.

— Авдеенко думает, что он лебедь, — поясняет Харлампий Диогенович. — Черный лебедь, — добавляет он через мгновение, намекая на загорелое угрюмое лицо Авдеенко.

— Сахаров, можете продолжать, — говорит Харлампий Диогенович.

Сахаров садится.

— И вы тоже, — обращается он к Авдеенко, но что-то в голосе его заметно сдвинулось. В него влилась точно дозированная порция насмешки... — Если, конечно, не сломаете шею... черный лебедь! — твердо заключает он, как бы выражая мужественную надежду, что Авдеенко найдет в себе силы работать самостоятельно.

Шурик Авдеенко сидит, яростно наклонившись над тетрадью, показывая мощные усилия ума и воли, брошенные на решение задачи.

Главное оружие Харлампия Диогеновича — это делать человека смешным. Ученик, отступающий от школьных правил, не лентяй, не лоботряс, не хулиган, а просто смешной человек. Вернее, не просто смешной, на это, пожалуй, многие согласились бы, но какой-то обидно смешной. Смешной, не понимающий, что он смешной, или догадывающийся об этом последним.

И когда учитель выставляет тебя смешным, сразу распадается круговая порука учеников и весь класс над тобой смеется. Все смеются против одного. Если над тобой смеется один человек, ты можешь еще как-нибудь с этим справиться, но невозможно пересмеять весь класс. И если уж ты оказался смешным, хотелось во что бы то ни стало доказать, что ты хоть и смешной, но не такой уж окончательно смехотворный.

Надо сказать, что Харлампий Диогенович не давал никому привилегии. Смешным мог оказаться каждый. Разумеется, я тоже не избежал общей участи.

В тот день я не решил задачу, заданную на дом. Там было что-то про артиллерийский снаряд, который куда-то летит с какой-то скоростью и за какое-то время. Надо было узнать, сколько километров пролетел бы он, если бы летел с другой скоростью и чуть ли не в другом направлении.

Как будто один и тот же снаряд может лететь с разной скоростью. В общем задача была какая-то запутанная и глупая. У меня решение никак не сходилось с ответом. А между прочим, в задачниках тех лет, наверное, из-за вредителей, ответы иногда бывали неверные. Правда, очень редко, потому что вредителей к тому времени почти всех переловили. Но, видно, кое-кто еще орудовал на воле.

Но некоторые сомнения у меня все-таки оставались. Вредители вредителями, но, как говорится, и сам не плошай.

Поэтому на следующий день я пришел в школу за час до занятий. Мы учились во вторую смену. Самые заядлые футболисты были уже на месте. Я спросил у одного из них насчет задачи, оказалось, что и он ее не решил. Совесть моя окончательно успокоилась. Мы разделились на две команды и играли до самого звонка.

И вот входим в класс. Еле отдышавшись, на всякий случай спрашиваю у отличника Сахарова:

— Ну как задача?

— Ничего, — говорит он, — решил.

При этом он коротко и значительно кивнул головой в том смысле, что трудности были, но мы их одолели.

— Как так решил, ведь ответ неправильный?

— Правильный, — кивает он мне головой с такой противной уверенностью на умном добросовестном лице, что я его в ту же минуту возненавидел за благополучие. Я еще хотел посомневаться, но он отвернулся, отняв у меня последнее утешение падающих — хвататься руками за воздух.

Оказывается, в это время в дверях появился Харлампий Диогенович, но я его не заметил и продолжал жестикулировать, хотя он стоял почти рядом со мной. Наконец, я догадался, в чем дело, испуганно захлопнул задачник и замер.

Харлампий Диогенович прошел на место.

Я испугался и ругал себя за то, что сначала согласился с футболистом, что задача неправильная, а потом не согла-

сился с отличником, что она правильная. А теперь Харлампий Диогенович, наверное, заметил мое волнение и первым меня вызовет.

Рядом со мной сидел тихий и скромный ученик. Звали его Адольф Комаров. Теперь он себя называл Аликом и даже на тетради писал «Алик», потому что началась война, и он не хотел, чтобы его дразнили Гитлером. Все равно все помнили, как его звали раньше, и при случае напоминали ему об этом.

Я любил разговаривать, а он любил сидеть тихо. Нас посадили вместе, чтобы мы влияли друг на друга, но, по моему, из этого ничего не получилось. Каждый остался таким, каким был.

Сейчас я заметил, что даже он решил задачу. Он сидел над своей раскрытой тетрадью, опрятный, худой и тихий, и оттого, что руки его лежали на промокашке, он казался еще тише. У него была такая дурацкая привычка — держать руки на промокашке, от которой я его никак не мог отучить.

— Гитлер капут, — шепнул я в его сторону.

Он, конечно, ничего не ответил, но хоть руки убрал с промокашки, и то стало легче.

Между тем Харлампий Диогенович поздоровался с классом и уселся на стул. Он слегка задернул рукава пиджака, медленно протер нос и рот носовым платком, почему-то посмотрел после этого в платок и сунул его в карман. Потом он снял часы и начал листать журнал. Казалось, приготовления палача пошли быстрее.

Но вот он отметил отсутствующих и стал оглядывать класс, выбирая жертву. Я затаил дыхание.

— Кто дежурный — вдруг спросил он.

Я вздохнул, благодарный ему за передышку.

Дежурного не оказалось, и Харлампий Диогенович заставил самого старосту стирать с доски. Пока тот стирал, Харлампий Диогенович внушал ему, что должен делать староста, когда нет дежурного. Я надеялся, что он расскажет по этому поводу какую-нибудь притчу из школьной жизни или басню Эзопа, или что-нибудь из греческой мифологии. Но он ничего не стал рассказывать, потому что скрип сухой тряпки о доску был неприятен, и он ждал, чтобы староста скорее кончил свое нудное протирание. Наконец, староста сел.

Класс замер. Но в это мгновение раскрылась дверь, и в дверях появилась докторша с медсестрой.

— Извините, это пятый «А»? — спросила доктор.

— Нет, — сказал Харламий Диогенович с вежливой враждебностью, чувствуя, что какое-то санитарное мероприятие может сорвать ему урок. Хотя наш класс был почти пятый «А», потому что он был пятый «Б», он так решительно сказал «нет», как будто между нами ничего общего не было и не могло быть.

— Извините, — сказала докторша еще раз и, почему-то помешкав, закрыла дверь.

Я знал, что они собираются делать уколы против тифа. В некоторых классах уже делали. Об уколах заранее никогда не объявляли, чтобы никто не мог улизнуть или, притворившись больным, остаться дома.

Уколов я не боялся, потому что мне делали массу уколов от малярии, а это самые противные из всех существующих уколов.

И вот внезапная надежда, своим белоснежным халатом озарившая наш класс, исчезла. Я этого не мог так оставить.

— Можно, я им покажу, где пятый «А» — сказал я, обнаглев от страха.

Два обстоятельства в какой-то мере оправдывали мою дерзость. Я сидел против двери, и меня часто посылали в учительскую за мелом или еще чем-нибудь. А потом пятый «А» был в одном из флигелей при школьном дворе, и докторша в самом деле могла запутаться, потому что она у нас бывала редко, постоянно она работала в первой школе.

— Покажите, — сказал Харламий Диогенович и слегка приподнял брови.

Стараясь сдерживаться и не выдавать своей радости, я выскочил из класса.

Я догнал докторшу и медсестру еще в коридоре нашего этажа и пошел с ними.

— Я покажу вам, где пятый «А», — сказал я.

Докторша улыбнулась так, как будто она не уколы делала, а раздавала конфеты.

— А нам что, не будете делать? — спросил я.

— Вам на следующем уроке, — сказала докторша, все так же улыбаясь.

— А мы уходим в музей на следующий урок, — сказал я несколько неожиданно даже для себя.

Вообще-то у нас шли разговоры о том, чтобы организовано пойти в краеведческий музей и осмотреть там следы стоянки первобытного человека. Но учительница истории все время откладывала наш поход, потому что директор боялся, что мы не сумеем пойти туда организовано.

Дело в том, что в прошлом году один пацан из нашей школы стащил оттуда кинжал абхазского феодала, чтобы сбежать с ним на фронт. По этому поводу был большой шум, и директор решил, что все получилось так потому, что класс пошел в музей не в шеренгу по два, а гурьбой.

На самом деле этот пацан все заранее рассчитал. Он не сразу взял кинжал, а сначала сунул его в солому, которой была покрыта хижина дореволюционного бедняка. А потом через несколько месяцев, когда все успокоилось, он пришел туда в пальто с прорезанной подкладкой и окончательно унес кинжал.

— А мы вас не пустим, — сказала докторша шутливо.

— Что вы, — сказал я, начиная волноваться, — мы собираемся во дворе и организовано пойдем в музей.

— Значит, организовано?

— Да, организовано, — повторил я серьезно, боясь, что она, как и директор, не поверит в нашу способность организовано сходить в музей.

— А что, Галочка, пойдем в пятый «Б», а то и в самом деле уйдут, — сказала она и остановилась. Мне всегда нравились такие чистенькие докторши в беленьких чепчиках и в беленьких халатах.

— Но ведь нам сказали сначала в пятый «А», — заупрямилась эта Галочка и строго посмотрела на меня. Видно было, что она всеми силами корчит из себя взрослую.

Я даже не посмотрел в ее сторону, показывая, что никто и не думает считать ее взрослой.

— Какая разница, — сказала докторша и решительно повернулась.

— Мальчику не терпится испытать мужество, да?

— Я малярник, — сказал я, отстраняя личную заинтересованность — мне уколы делали тыщу раз.

— Ну, малярник, веди нас, — сказала докторша, и мы пошли.

Убедившись, что они не передумают, я побежал вперед, чтобы устранить связь между собой и их приходом.

Когда я вошел в класс, у доски стоял Шурик Авдеенко, и, хотя решение задачи в трех действиях было написано на доске его красивым почерком, объяснить решение он не мог. Вот он и стоял у доски с яростным и угрюмым лицом, как будто раньше знал, а теперь никак не может припомнить своей мысли.

«Не бойся, Шурик, — думал я, — ты ничего не знаешь, а я тебя уже спас». Хотелось быть ласковым и добрым.

— Молодец, Алик, — сказал я тихо Комарову, — такую трудную задачу решил.

Алик у нас считался способным троечником. Его редко ругали, зато еще реже хвалили. Кончики ушей у него благодарно порозовели. Он опять наклонился над своей тетрадью и аккуратно положил руки на промокашку. Такая уж у него была привычка.

Но вот распахнулась дверь, и докторша вместе с этой Галочкой вошли в класс. Докторша сказала, что так, мол, и так, надо ребятам делать уколы.

— Если это необходимо именно сейчас, — сказал Харламий Диогенович, мельком взглянув на меня, — я не могу возражать. Авдеенко, на место, — кивнул он Шурику.

Шурик положил мел и пошел на место, продолжая делать вид, что вспоминает решение задачи.

Класс заволновался, но Харламий Диогенович приподнял брови, и все притихли. Он положил в карман свой блокнотик, закрыл журнал и уступил место докторше. Сам он присел рядом за парту. Он казался грустным и немного обиженным.

Доктор и девчонка раскрыли свои чемоданчики и стали раскладывать на столе баночки, бутылочки и враждебно сверкающие инструменты.

— Ну, кто из вас самый смелый? — сказала докторша, хищно высосав лекарство иглой и теперь держа эту иглу острием кверху, чтобы лекарство не вылилось.

Она это сказала весело, но никто не улыбнулся, все смотрели на иглу.

— Будем вызывать по списку, — сказал Харламий Диогенович, — потому что здесь сплошные герои.

Он раскрыл журнал.

— Авдеенко, — сказал Харламий Диогенович и поднял голову.

Класс нервно засмеялся. Докторша тоже улыбнулась, хотя и не понимала, почему мы смеемся.

Авдеенко подошел к столу длинный, нескладный, и по лицу его было видно, что он так и не решил, что лучше: получить двойку или идти первым на укол.

Он поднял рубаху и теперь стоял спиной к докторше, все такой же нескладный и не решивший, что лучше. И потом, когда укол сделали, он не обрадовался, хотя теперь весь класс ему завидовал.

Алик Комаров все больше и больше бледнел. Подходила его очередь. И хотя он продолжал держать свои руки на промокашке, видно, это ему не помогало.

Я старался как-нибудь его расхрабрить, но ничего не получалось. С каждой минутой он делался все строже и бледней. Он не отрываясь смотрел на докторскую иглу.

— Отвернись и не смотри, — говорил я ему.

— Я не могу отвернуться, — отвечал он затравленным шепотом.

— Сначала будет не так больно. Главная боль, когда будут впускать лекарство, — подготавливал я его.

— Я худой, — шептал он мне в ответ, едва шевеля белыми губами, — мне будет очень больно.

— Ничего, — отвечал я, — лишь бы в кость не попала иглолка.

— У меня одни кости, — отчаянно шептал он, — обязательно попадут.

— А ты расслабься, — говорил я ему, похлопывая его по спине, — тогда не попадут.

Спина его от напряжения была твердая как доска.

— Я и так слабый, — отвечал он, ничего не понимая, — я малокровный.

— Худые не бывают малокровными, — строго возразил я ему. — Малокровными бывают малярики, потому что малярия сосет кровь.

У меня была хроническая малярия, и сколько доктора ни лечили, ничего не могли поделать с ней. Я немного гордился своей неизлечимой малярией.

К тому времени, как Алика вызвали, он был совсем готов. Я думаю, он даже не соображал, куда идет и зачем.

Теперь он стоял спиной к докторше, бледный, с остекленевшими глазами, и, когда ему сделали укол, он внезапно побелел, как смерть, хотя казалось, дальше бледнеть некуда. Он так побледнел, что на лице его выступили веснушки, как будто откуда-то выпрыгнули. Раньше никто и

не думал, что он веснушчатый. На всякий случай я решил запомнить, что у него есть скрытые веснушки. Это могло пригодиться, хотя я и не знал пока, для чего.

После укола он чуть не свалился, но докторша его удержала и посадила на стул. Глаза у него закатились, мы все испугались, что он умирает.

— Скорую помощь! — закричал я. — Побегу позвоню!

Харлампий Диогенович гневно посмотрел на меня, а докторша ловко подсунула ему под нос флакончик. Конечно, не Харлампию Диогеновичу, а Алику.

Он сначала не открывал глаза, а потом вдруг вскочил и деловито пошел на свое место, как будто не он только что умирал.

— ...Даже не почувствовал, — сказал я, когда мне сделали укол, хотя прекрасно все почувствовал.

— Молодец, малярик, — сказала докторша.

Помощница ее быстро и небрежно протерла мне спину после укола. Видно было, что она все еще злится на меня за то, что я их не пустил в пятый «А».

— Еще потрите, — сказал я, — надо, чтобы лекарство разошлось.

Она с ненавистью дотрала мне спину. Холодное прикосновение проспиртованной ваты было приятно, а то, что она злится на меня и все-таки вынуждена протирать мне спину, было еще приятней.

Наконец все кончилось. Докторша со своей Галочкой собрали чемоданчики и ушли. После них в классе остался приятный запах спирта и неприятный — лекарства. Ученики сидели, пожививаясь, осторожно пробуя лопатками место укола и переговариваясь на правах пострадавших.

— Откройте окно, — сказал Харлампий Диогенович, занимая свое место. Он хотел, чтобы с запахом лекарства из класса вышел дух больничной свободы.

Он вынул четки и задумчиво перебирал желтые бусины. До конца урока оставалось немного времени. В такие промежутки он обычно рассказывал нам что-нибудь поучительное и древнегреческое.

— Как известно из древнегреческой мифологии, Геракл совершил двенадцать подвигов, — сказал он и остановился. Щелк, щелк — перебрал он две бусины справа налево. — Один молодой человек хотел исправить греческую мифологию, — добавил он и опять остановился. Щелк, щелк.

«Смотри, чего захотел», — подумал я про этого молодого человека, понимая, что греческую мифологию исправлять никому не разрешается. Какую-нибудь другую завалящую мифологию, может быть, и можно подправить, но только не греческую, потому что там уже давно все исправлено и никаких ошибок быть не может.

— Он хотел совершить тринадцатый подвиг Геракла, — продолжал Харламий Диогенович, — и это ему отчасти удалось.

Мы сразу по его голосу поняли, до чего это был фальшивый и никудышный подвиг, потому что, если бы Гераклу понадобилось совершить тринадцать подвигов, он бы сам их совершил, а раз он остановился на двенадцати, значит так оно и надо было и нечего было лезть со своими поправками.

— Геракл совершил свои подвиги, как храбрец. А этот молодой человек совершил свой подвиг из трусости... — Харламий Диогенович задумался и прибавил: — Мы сейчас узнаем, во имя чего он совершил свой подвиг...

Щелк. На этот раз только одна бусина упала с правой стороны на левую. Он ее резко подтолкнул пальцем. Она как-то нехорошо упала. Лучше бы упали две, как раньше, чем одна такая.

Я почувствовал, что в воздухе запахло какой-то опасностью. Как будто не бусина щелкнула, а захлопнулся маленький капканчик в руках Харламия Диогеновича.

— ...Мне кажется, я догадываюсь, — проговорил он и посмотрел на меня.

Я почувствовал, как от его взгляда сердце мое с размаху вцепилось в спину.

— Прошу вас, — сказал он и жестом пригласил меня к доске.

— Меня? — переспросил я, чувствуя, что голос мой подымается прямо из живота.

— Да, именно вас, бесстрашный малярик, — сказал он. Я поплелся к доске.

— Расскажите, как вы решили задачу, — спросил он спокойно, и — щелк, щелк, — две бусины перекатились с правой стороны на левую. Я был в его руках.

Класс смотрел на меня и ждал. Он ждал, что я буду проваливаться, и хотел, чтобы я проваливался как можно медленнее и интересней.

Я смотрел краем глаза на доску, пытаюсь по записанным действиям восстановить причину этих действий, но ничего сообразить не мог. Тогда я стал сердито стирать с доски, как будто написанное Шуриком путало меня и мешало сосредоточиться. Я еще надеялся, что вот-вот прозвенит звонок — и казнь придется отменить. Но звонок не звенел, а бесконечно стирать с доски было невозможно. Я положил тряпку, чтобы раньше времени не делаться смешным.

— Мы вас слушаем, — сказал Харламий Диогенович, не глядя на меня.

— Артиллерийский снаряд, — сказал я бодро в ликующей тишине класса и замолк.

— Дальше, — проговорил Харламий Диогенович, вежливо выждав.

— Артиллерийский снаряд, — повторил я упрямо, надеясь по инерции этих правильных слов пробиться к другим таким же правильным словам. Но что-то крепко держало меня на привязи, которая натягивалась, как только я произносил эти слова. Я сосредоточился изо всех сил, пытаюсь представить ход задачи, и еще раз рванулся, чтобы оборвать эту невидимую привязь.

— Артиллерийский снаряд, — повторил я, содрогаюсь от ужаса и отвращения.

В классе раздались сдержанные хихиканья. Я почувствовал, что наступил критический момент, и решил ни за что не делаться смешным, лучше просто получить двойку.

— Вы что, проглотили артиллерийский снаряд? — спросил Харламий Диогенович с доброжелательным любопытством. Он спросил это так просто, как будто спрашивался, не проглотил ли я сливовую косточку.

— Да, — быстро сказал я, почувствовав ловушку и решив неожиданным ответом спутать его расчеты.

— Тогда попросите военрука, чтобы он вас разминировал, — сказал Харламий Диогенович, но класс уже и так смеялся.

Смеялся Сахаров, стараясь во время смеха не переставать быть отличником. Смеялся даже Шурик Авдеенко, самый мрачный человек нашего класса, которого я же спас от неминуемой двойки. Смеялся Комаров, который, хоть и зовется теперь Аликом, а как был, так и остался Адольфом.

Глядя на него, я подумал, что, если бы у нас в классе не было настоящего рыжего, он сошел бы за него, потому что волосы у него светлые, а веснушки, которые он скрывал так же, как свое настоящее имя, обнаружались во время укола. Но у нас был настоящий рыжий, и рыжеватость Комарова никто не замечал. И еще я подумал, что, если бы мы на днях не содрали с наших дверей табличку с обозначением класса, может быть, докторша к нам не зашла и ничего бы не случилось. Я смутно начинал догадываться о связи, которая существует между вещами и событиями.

Звонок, как погребальный колокол, продрался сквозь хохот класса. Харлампий Диогенович поставил мне отметку в журнал и еще что-то записал в свой блокнотик.

С тех пор я стал серьезней относиться к домашним заданиям и с нерешенными задачами никогда не совался к футболистам. Каждому свое.

Позже я заметил, что почти все люди боятся показаться смешными. Особенно боятся показаться смешными женщины и поэты. Пожалуй, они слишком боятся и поэтому иногда выглядят смешными. Зато никто не может так ловко выставить человека смешным, как хороший поэт или женщина.

Конечно, слишком бояться выглядеть смешным не очень умно, но куда хуже совсем не бояться этого.

Мне кажется, что древний Рим погиб оттого, что его императоры в своей бронзовой спеси перестали замечать, что они смешны. Обзаведись они вовремя шутами (надо хотя бы от дурака слышать правду), может быть, им удалось бы продержаться еще некоторое время. А так они надеялись, что в случае чего гуси спасут Рим. Но нагрянули варвары и уничтожили древний Рим вместе с его императорами и гусями.

Я, понятно, об этом несколько не жалею, но мне хочется благодарно возвысить метод Харлампия Диогеновича. Смехом он, разумеется, закалял наши лукавые детские души и приучал нас относиться к собственной персоне с достаточным чувством юмора. По-моему, это вполне здоровое чувство, и любую попытку ставить его под сомнение я отвергаю решительно и навсегда.

## МОЯ ДЯДЯ САМЫХ ЧЕСТНЫХ ПРАВИЛ...

Когда ребята с нашей улицы начинали хвастаться своими знаменитыми родичами, я молчал, я давал им высказаться.

Военные проходили по высшей категории. Но и среди военных была своя особая, подсказанная мальчишеским воображением, субординация. На первом месте были пограничники, на втором — летчики, на третьем — танкисты, а потом остальные. Пожарники проходили вне конкурса.

Тогда еще не было войны, а у меня, как назло, ни одного родственника не служил в армии. Но я имел свой особый козырь, которым пользовался довольно успешно.

— А у меня дядя сумасшедший, — говорил я спокойным голосом, отодвигая на некоторое время слишком реальных героев своих товарищей. Сумасшедший — это необычно, а главное, почти недоступно. Летчиком и пограничником можно стать, если хорошо учиться, так по крайней мере утверждали взрослые. А они, конечно, знали что к чему. А сумасшедшим не станешь, будь ты самым что ни на есть отличником. Конечно, если не заучиться. Но нам это не грозило.

Одним словом, сумасшедшим надо родиться, или в детстве удачно упасть, или заболеть менингитом.

— А он настоящий? — спрашивал кто-нибудь из ребят недоверчиво.

— Конечно, — говорил я, ожидая этого вопроса. — У него справки есть, его смотрели профессора.

Справки и вправду были, они лежали у тетки в швейной машинке «Зингер».

— А почему он не в сумасшедшем доме живет?

— Его бабушка туда не пускает.

— А вы не боитесь его по ночам?

— Нет, мы привыкли, — говорил я спокойно, как экскурсовод, ожидая следующих вопросов. Иногда задава-

ли глупые вопросы, вроде того, не кусается ли он, но я оставлял их без внимания.

— А ты не сумасшедший? — догадывался кто-нибудь спросить, глядя на меня пронизательными глазами.

— Немножко могу, — говорил я со скромным достоинством.

— Интересно, кто победит: Фран-Гут или сумасшедший? — бросал кто-нибудь, и сразу же возникали десятки интересных предположений. Фран-Гут был знаменитым борцом из проезжего цирка Шапито. Он был негр, и поэтому мы все за него болели.

Дядя жил на втором этаже нашего дома вместе с тетей, бабушкой и остальной родней. Существовали две фамильные версии, объясняющие его не вполне обычное состояние. По первой из них получалось, что это случилось с ним в детстве после болезни. Это была неинтересная и потому маловероятная версия. По второй, которую распространяла тетя и в конце концов заглушила бабушкины воспоминания, оказывалось, что он в ранней юности упал с арабского скакуна.

Тетя почему-то не любила, когда его называли сумасшедшим.

— Он не сумасшедший, — говорила она, — он душевнобольной.

Это звучало красиво, но непонятно. Тетя любила приукрашивать действительность, и это ей отчасти удавалось. Но все-таки он был настоящий сумасшедший, хотя и почти нормальный.

Обычно он никого не трогал. Сидел себе на скамеечке на балконе и пел песенку собственного сочинения. В основном это были романсы без слов.

Правда, иногда на него находило. Он вспоминал какие-то старые обиды, начинал хлопать дверьми и бегать по длинному коридору второго этажа. В таких случаях лучше было не попадаться ему на глаза. Не то чтобы он обязательно чего-нибудь натворил, но все же лучше было не попадаться. Если при этом бабушка оказывалась дома, она его довольно быстро приводила в себя. Бабка заворачивала ему ворот рубахи и бесцеременно подставляла его голову под кран. После хорошей порции холодной воды он успокаивался и садился пить чай.

Словарь его, как у современных поэтов-песенников, был предельно сжат. Вытряхните на стол тетрадь второкласс-

ника — там будут все слова, которыми дядюшка обходился при жизни. Правда, у него было несколько выражений, которые явно не встретишь в тетради второклассника и даже в книге не встретишь. Он употреблял их, как и нормальные люди, в минуты наибольшего душевного подъема. Из них можно воспроизвести только одно: «Удушю мать».

Говорил он в основном по-абхазски, но ругался на двух языках: по-русски и по-турецки. По-видимому, в память они ему врезались по степени накала. Отсюда можно заключить, что русские и турки в минуту гнева выдают выражения примерно одинаковой эмоциональной насыщенности.

Как все сумасшедшие (и некоторые несумасшедшие), он был очень сильным. Дома он выполнял всякую работу, не требующую большой сообразительности. Сливал помои, таскал свежую воду, когда еще не было водопровода, приносил базарные сумки, колол дрова. Работал добросовестно и даже вдохновенно. Когда мощная струя помоев, описав крутую траекторию со второго этажа, глухо шлепалась в яму, бродячие кошки, возившиеся в ней, взлетали, как подброшенные взрывной волной.

Бабушка его жалела, она считала, что он может надорваться на работе. Иногда, в дни генеральной уборки, она насильно укладывала его в постель и объявляла, что он заболел. Она перевязывала ему голову или щеку, и он лежал растерянный и несколько смущенный мистификацией. В конце концов ему надоедало лежать, и он пытался подняться, но бабушка снова заталкивала его в постель. Заставить работать его в такие часы было невозможно. Он пожимал плечами и говорил: «Бабушка не разрешает». Он бабушку называл бабушкой, хотя она ему была мамой. Такой уж он был, со странностями.

Дядя был удивительно чистоплотен. Нам, детям, всегда его ставили в пример. Я с тех пор, как увижу слишком чистоплотного человека, не могу избавиться от мысли, что у него в голове не все в порядке. Я, понятно, ему об этом не говорю, но так, для себя, имею в виду.

Словом, дядя был ужасно чистоплотным. Бывало, не подходи, когда он тащит свежую воду или сумку с провизией или садится есть. А уж руки мыл каждые десять-пятнадцать минут. Его за это ругали, потому что он протирал полотенце, но отучить не могли. Бывало, пожмет ему

кто-нибудь руку, он тут же бежит к умывалке. Взрослые часто потешались над этим и нарочно здоровались с ним по многу раз на день. Из какого-то такта дядя Коля не мог не подать руки, хотя и понимал, что его разыгрывают.

Больше всего на свете он любил сладости, из всех сладостей — воду с сиропом. Если нас посылали с ним на базар и мы проходили мимо ларька с фруктовыми водами, он, обычно не склонный к сентиментам, трогал меня рукой и, показывая на цилиндрики с разноцветными сиропами, застенчиво говорил: «Коля пить хочет».

Приятно было угостить взрослого седоглавого человека сладкой водичкой и чувствовать себя рядом с ним человеком пожившим, добрым и снисходительным к детским слабостям.

А еще он любил бриться. Правда, это удовольствие ему доставляли не так уж часто. Примерно раз в месяц. Иногда его посылали в парикмахерскую, но чаще его брила сама тетка.

Бритье он воспринимал серьезно. Сидел, не морщась и не шевелясь, пока тетка немилосердно скребла его намыленную, горделиво приподнятую голову. В такие минуты можно было из-за теткой спины показывать ему язык, грозить кулаком, он не обращал никакого внимания, погруженный в парикмахерский кейф. И это несмотря на то, что борода и особенно волосы на голове, как бы возросшие на целинных землях, густо курчавились и отчаянно сопротивлялись бритве. Иногда тетка просила меня поддержать ему ухо или натянуть кожу на шею. Я, конечно, охотно соглашался, понимая всю недоступность такого удовольствия в обычных условиях. С несколько преувеличенным усердием я держал его большое смуглое ухо, заворачивая его в нужном направлении и рассматривая шишки мудрости на его голове.

Обычно похожий на добродушного пасечника с курчавой бородой, после бритья он резко менялся: лицо его принимало брезгливо-надменное выражение римского сенатора из учебника по истории древнего мира. В первые дни после бритья он становился замкнутым и даже высокомерным, потом постепенно римский сенатор уходил в глубь бороды и выступал добродушный демократизм деревенского пасечника.

Я бы не сказал, что он страдал манией величия, но, проходя мимо памятника в городском сквере, он испыты-

вал некоторое возбуждение и, кивая на памятник, говорил: «Это я». То же самое он повторял, увидев портрет человека, поданный крупным планом в газете или журнале. Ради справедливости надо сказать, что он за себя принимал любое изображение мужчины в крупном плане. Но так как в этом виде почти всегда изображался один и тот же человек, это могло быть понято как некоторым образом враждебный намек, опасное направление мыслей и вообще дискредитация. Бабушка пыталась отучить его от этой привычки, но ничего не получалось.

— Нельзя, нельзя, комиссия! — грозно говорила бабушка, тыкая пальцем в портрет и отлучая дядю от него, как нечистую силу.

— Я, я, я, — отвечал ей дядя радостно, постукивая твердым ногтем по тому же портрету. Он ничего не понимал.

Я тоже ничего не понимал, и опасения взрослых мне казались просто глупыми.

Комиссии дядя действительно боялся. Дело в том, что соседи, исключительно из человеколюбия, время от времени писали анонимные доносы. Одни из них указывали, что дядя незаконно проживает в нашем доме и что он должен жить в сумасшедшем доме, как и все нормальные сумасшедшие. Другие писали, что он целый день работает и надо проверить, нет ли здесь тайной эксплуатации человека человеком.

Примерно раз в год являлась комиссия. Пока члены ее опасливо подымались по лестнице, тетя успевала надеть на него новую праздничную рубашку, давала ему в руки бабушкины четки и грозным шепотом приказывала ему сидеть и не двигаться. Члены комиссии, несколько сконфуженные своим необычным делом, извинялись и задавали тетке необходимые вопросы, время от времени поглядывая на дядю со скромным любопытством. Тетя извлекала из зингеровской машинки дядины документы.

— У него золотой характер, — говорила она. — А физический труд ему полезен. Об этом сам доктор Жданов говорил. Да и что он делает? Пару ведер воды принесет от скуки, вот и все.

Пока она говорила, дядя сидел за столом, деревянно сжимая четки, и глядел прямым немигающим взглядом деревенской фотографии.

Перед уходом кто-нибудь из членов комиссии, освоившись и осмелев, спрашивал у дяди:

— Нет ли жалоб?

Дядя вопросительно смотрел на бабушку, бабушка на тетю.

— Он у нас плохо слышит, — говорила тетя с таким видом, как будто это был его единственный недостаток.

— Жалобы, говорю, есть? — громче спрашивал тот.

— Батум, Батум... — задумчиво, сквозь зубы цедил дядя. Он начинал злиться на всю эту комедию, потому что про Батум он вспоминал в минуты крайнего раздражения.

— Ну, какие у него могут быть жалобы? Он шутит, — говорила тетя, очаровательно улыбаясь и провожая комиссию до порога. — Он у меня живет, как граф, — добавляла она крепнувшим голосом, глядя в спину уходящей комиссии. — Если бы некоторые эфиопки смотрели за своими мужьями, как я за своим инвалидом, у них не было бы времени сочинять армянские сказки!

Это был вызов двору, но двор, притаившись, трусливо молчал.

После ухода комиссии праздничную рубашку с дяди снимали, и тетя назло соседям посылала его за водой. Гремя ведрами, он радостно бросался в путь, явно предпочитая коммунальным фокусам свое древнее занятие водоноса.

Больше всего на свете дядя не любил кошек, собак, детей и пьяных. Не знаю, как насчет остальных, но в любви к детям отчасти виноват и я.

За многие годы я хорошо изучил все его наклонности, привязанности, слабости. Любимым занятием моим было дразнить его. Шутки порой бывали жестокими, и я теперь в них каюсь, но сделанного не вернешь. Единственное, что в какой-то мере утешает, это то, что и мне от него доставалось немало тумачков.

Бывало, в сырой зимний день сидим в теплой кухне. Бабушка возится у плиты, рядом дядя на скамеечке, а я сижу на кушетке и читаю какую-нибудь книгу. Потрескивает огонь, посвистывает чайник, мурлычет кошка. В конце концов этот тихий, сумасшедший уют начинает надоедать. Я все чаще откладываю книгу и смотрю на дядю. Дядя смотрит на меня своими зелеными персидскими глазами. Он смотрит на меня, потому что знает, что рано или

поздно я должен выкинуть какую-нибудь штучку. И так как он знает это и ждет, я не могу удержаться.

Простейший способ нарушить его спокойствие — это долго и пристально смотреть ему в глаза. Вот он начинает ерзать на стуле, потом опускает глаза и рассматривает свои большие руки, но я прекрасно знаю, о чем он думает. Потом он быстро поднимает глаза, чтобы узнать, смотрю я или нет. Я продолжаю смотреть. Я даже занимаю спокойную, удобную позу. Она должна внушать ему, что смотреть на него я намерен долго и это не составляет для меня большого труда. Он начинает беспокоиться и вполголоса говорит:

— Этот дурачок меня дразнит.

Он не хочет раньше времени подымать ненужный шум. Он говорит для меня. Он как бы репетирует передо мной свою будущую жалобу.

Я продолжаю упорно смотреть. Бедняга отворачивается, но ненадолго. Ему хочется узнать, продолжаю ли я смотреть. Я, конечно, смотрю. Тогда он прикрывает глаза ладонью. Но и это не помогает. Ему хочется узнать, оставил ли я его в покое в конце концов. Он слегка, думая, что я этого не замечаю, растопыривает ладони и смотрит в щелочку. Я гляжу как ни в чем не бывало. Тогда раздражается скандал.

— Он смотрит на меня, я его убью! — кричит дядюшка, и злые огни вспыхивают в его глазах. Я мгновенно отвожу взгляд на книгу, а потом подымаю голову с видом человека, неожиданно оторванного от своих мирных занятий.

— Что же, ему глаза выколоть, что ли? — говорит бабушка и, дав ему легкий подзатыльник, советует не смотреть в мою сторону, раз уж мой вид так его раздражает.

Но иногда, доведенный до ярости более злыми шутками, он сам дает подзатыльники, хватая полено или кочергу, и тогда наступает страшная минута. Особенно если нет рядом бабушки или взрослых сильных мужчин. «Боженька, — шепчу я про себя, — спаси на этот раз, и тогда я никогда в жизни не буду его дразнить. И буду всегда тебя любить и даже вместе с бабушкой тебе молиться. Вот увидишь, ты только спаси». Но, видно, я не слишком надеюсь на боженьку, тем более что каждый раз его подвожу. Несмотря на страх, сознание работает быстро и четко. Бе-

жишь, если дядя еще не отрезал путь к дверям. Но если бежать уже невозможно, единственное спасение — неожиданно подойти к нему и, низко наклонившись, подставить голову: бей. Это довольно жуткая минута, потому что перед тобой вооруженный безумец, да еще в ярости.

Но видно эта жалкая поза, эта полная покорность судьбе его обезоруживают. Какое-то врожденное благородство его останавливает от удара. Он мгновенно гаснет. Бывало, только оттолкнет брезгливо и отойдет, в недоумении пожимая плечами на то, что люди могут быть такими дерзкими и такими жалкими одновременно.

Однажды я прочитал замечательную книжку, где шпион притворился глухонемым, но потом его разоблачили, потому что он во сне заговорил по-немецки. Один наш контрразведчик нарочно выстрелил над его головой, но он даже не вздрогнул. Он был сильной личностью. Но во сне он переставал быть сильной личностью, потому что спал. И вот он заговорил по-немецки, а мальчик его разоблачил. Другой мальчик тоже слышал, как шпион говорит во сне, но не мог его разоблачить, потому что плохо занимался по-немецки и не понял, по-какому тот говорит. Но главное не это. Главное, что шпион притворялся глухонемым.

Мысль моя сделала гениальный скачок: я понял, что дядя мой совсем не сумасшедший, а самый настоящий шпион. Единственное, что меня немного смущало, это то, что бабка его помнила с детских лет. Но и это препятствие я быстро опрокинул. Его подменили, догадался я. Сумасшедший дядя был, но шпионы изучили его повадки и словечки и в один прекрасный день дядю выкрали, а вместо него подсунули шпиона. А брезгливым он притворяется нарочно, чтобы его кто-нибудь не отравил.

Я вспомнил, что в его поведении было много подозрительного. Иногда он что-то записывал на листках бумаги цветными карандашами. Бумажки эти он тщательно прятал. Я, конечно, заглядывал в них, но раньше они мне казались каракулями неграмотного человека. Здорово же он нас обманывал! А удочки!

Дядя иногда ходил на море ловить рыбу. В этом не было бы ничего странного, ведь и нормальные люди увлекаются рыбной ловлей. Но дело в том, что на удочке его не было крючков. А мы еще смеялись над ним. Может быть,

внутри удилища был тайный радиоприемник и он передавал сведения вражеской подводной лодке?

Мозг мой пылал. Мысленно я уже читал в «Пионерской правде» большой заголовок: «Пионер разоблачил шпиона. Дети, будьте бдительны!»

Дальше шел мой портрет и рассказ, который начинался такими словами:

«С некоторых пор пионер такой-то (то есть я) стал тихим и грустным. Его близорукие родители (то есть мои родители) считали, что он заболел. На самом деле он обдумывал, как разоблачить матерого шпиона, который долгое время выдавал себя за сумасшедшего дядю. Нелегко было пойти на такой шаг. Но пионер не растерялся. Это была борьба нервов». И дальше в таком же духе и даже еще лучше.

Первым делом надо было выкрасть удочку и проверить ее. Она лежала у дяди под кроватью. К постели своей он меня близко не подпускал, все из той же якобы брезгливости. Но я воспользовался случаем, когда его послали за водой, вытащил удилище из-под кровати, взял напильник и тайком, в огороде, стал распиливать суставчатое тело бамбука. Я распилил каждое звено, но удилище оказалось пустым. Я не впал в уныние, а обратил внимание на то, что самое первое звено у основания удилища не имело естественной перегородки, она была проломана и туда можно было просунуть палец. Все ясно! Он туда просовывает свой приемничек, а потом вынимает и прячет. Ну и хитрец! Я закопал удилище в огороде и стал обдумывать, что делать дальше.

Надо было спешить, пока он не обнаружил, что у него пропала удочка. Но вот тетка ушла из дому по своим делам, бабушка вышла во двор посидеть в холодке, а я поднялся наверх. Дядя, как обычно, сидел в кухне и, глядя через окно в коридор, следил, чтобы никто из чужих не проник в дом. Я вошел в кухню и сел против него за стол. Главное, решил я, напор и неожиданность. Он думает, что я начну дразнить, а на самом деле...

— Ваша карьера окончена, подполковник Штауберг, — сказал я отчетливо и почувствовал, как на спине моей выступает гусиная кожа, подобно пузырькам на поверхности газированной воды.

Не знаю, откуда я взял, что он подполковник Штауберг. Видимо, я доверял интуиции, как и многие гениаль-

ные контрразведчики, о которых читал, в том числе сам майор Пронин.

— Отстань, — сказал дядя мне в ответ тем тоскливым голосом, каким он говорил, когда чувствовал, что я начинаю его дразнить, а у него не было охоты связываться со мной.

Ни один мускул на его лице не дрогнул. «Железный человек», — подумал я, восторженно содрогаясь и продолжая делать то, что положено было делать в эту минуту.

— Вы неплохо сыграли свою роль, но и мы не дремали, — великодушно отдавая дань ловкости врага, сказал я. Слова приходили точные и крепкие, они вселяли уверенность в правоте дела.

— Мальчик сумасшедший, — сказал дядюшка с некоторым оттенком раздражения. Он всегда меня называл мальчиком, как будто у меня не было своего имени.

«Увиливает, шельма», — подумал я, задыхаясь от вдохновения, и решил, что пора намекнуть ему кое на что.

— Рыбка не клюет? — спросил я, пренебрежительно улыбаясь и глядя ему в глаза. — Море волнуется или удочка не годится?

— Удочка? — повторил он, и в его тусклых глазах мелькнуло подобие мысли.

— Вот именно, удочка, — сказал я, поняв, что ухватился за то самое звено, при помощи которого можно, не слишком громыхая, вытащить и всю цепь.

— Моя удочка? — повторил он, начиная что-то сообщать.

— Вы попались на свою удочку, подполковник! — сострил я и, откинувшись на стуле, стал ждать, что будет дальше.

— Удочка, удочка, удушю мать! — пробормотал он в сильном волнении и, что-то окончательно себе уяснив, ринулся к дверям.

— Ни с места! — крикнул я. — Дом сцеплен!

— Батум! — крикнул он и побежал в комнату.

Я немного растерялся. Вместо того, чтобы с достоинством сдать и сказать: «На этот раз вы меня перехитрили, лейтенант...», он побежал искать удочку, как будто это имело какое-нибудь значение.

Через несколько минут он влетел в комнату, и все перепуталось.

— Украл удочку! — кричал он в ярости, пытаясь схватить меня.

— Добровольное признание облегчит вашу участь! — кричал я в ответ, бегая вокруг стола и сваливая ему под ноги стулья испытанным приемом английской разведки.

— Вор! Удочка! Удушу мать! — кричал он, возбуждаясь от схватки.

— Назовите сообщников! — орал я в ответ, срезая угол стола. В этом было мое спасение, потому что тормозить он не умел и, промахиваясь, пробежал мимо. Все-таки ему иногда удавалось шлепнуть меня через стол или ткнуть кулаком вдогонку.

Я знал, что борьба нервов может быть ужасной, но когда один бьет, а другой только изворачивается, рано или поздно победит тот, кто бьет.

В конце концов я вскочил на кушетку и, отбиваясь ногой, изо всей силы закричал:

— Бабушка!

Она и так уже подымалась по лестнице. Видимо, грохот нашей схватки был слышен во дворе. Увидев ее, бедняга бросился к ней и стал оправдываться. Кстати, это почти никогда не удавалось. Нормальному человеку и то трудно оправдаться, а уж такого и слушать никто не хочет.

— Удочка, удочка, — лепетал он, растеряв от волнения и те немногие слова, которые знал.

И вдруг я почувствовал к нему жалость, я как-то понял, что никогда в жизни он не сможет толком оправдаться. А ведь я и в самом деле испортил ему удочку. Но признаться в том, что сам кругом виноват, смелости не хватило. И не только смелости. Я знал, что взрослые привыкли в таких случаях считать его виноватым, и догадывался, что им будет неприятно менять свою удобную привычку и принимать во внимание более сложные соображения.

Я сказал, что он на меня напал, но побить все же не успел. Это был примиренческий выход, к сожалению, самый распространенный.

В связях с иностранной разведкой я его больше не подозревал.

Как я ни откладывал, но теперь мне придется рассказать о его великой любви, которую он, к сожалению, никак не мог скрыть от окружающих. Он был влюблен в тетю

Файну. Об этом знали все, и взрослые смачно толковали о его страсти, мало озабоченные тем, что их слушают не вполне подготовленные дети.

Я до сих пор не пойму, почему он выбрал именно ее, самую замызганную, самую конопатую, самую глупую из женщин нашего двора. Я далек от утверждения, что среди них можно было найти Суламифь или Софью Ковалевскую. Но все-таки он выбрал самую некрасивую и самую глупую. Может быть, он чувствовал, что путь между их духовными мирами наименее утомителен.

Тетя Фаина была портнихой. Она обшивала наш двор. В основном ей поручали перешивать старые вещи, детские рубашонки, трусы и всякую мелочь.

— Оборочки, манжеттики, — говорила она, суетливо обмеривая заказчика сантиметром и стараясь казаться настоящим мастером.

Шила она, видимо, плохо, да и платили ей за работу очень мало, а иногда и ничего не давали в счет будущих заказов.

— Спасибо, Фаиночка, сочтемся, — говорили ей при этом.

— За спасибо хлеба не купишь, — отвечала она, горестно усмехаясь с некоторой долей отвлеченной обиды в голосе, как бы обижаясь не на заказчиков, а на тех, кто не продает хлеб за спасибо.

В свободное от работы время, а иногда и одновременно с работой тетя Фаина ругалась со своей ближайшей соседкой, одинокой молодой женщиной неопределенных занятий. Звали ее тетя Тамара. Иногда вечерами к ней в гости приходили матросы. Они пели замечательные протяжные песни, а тетя Тамара им подпевала. Получалось очень красиво, но нас почему-то туда не пускали. Соседки не любили тетю Тамару, но побаивались ее.

— Она дерется, как мужчина, — говорили они.

Тетя Фаина и тетя Тамара всегда ругались. Дело в том, что они обе были рыжие. А рыжие между собой никогда не уживаются, тем более по соседству. Они терпеть друг друга не могут.

— Рыжая команда! — бывало, кричит тетя Тамара, стоя у бельевой веревки, увешанная прищепками, как пулеметными лентами.

— Ты сама рыжая, — отвечает тетя Фаина вполне справедливо.

— Я не рыжая, я блондинка лимонного цвета, — усмехается тетя Тамара.

— К тебе матросы ходят, — нервничает тетя Фаина.

— Интересно, кто к тебе пойдет? — ехидно говорит тетя Тамара.

— У меня муж есть, — доказывает тетя Фаина, — все знают моего мужа, он честный человек.

— Начхала я на твоего мужа, — как-то обидно говорит тетя Тамара и, развесив белье, удаляется в комнату.

Бедный дядя был влюблен в эту самую тетю Фаину. Как я теперь понимаю, это была самая бескорыстная и долговечная любовь из всех, которые я встречал в своей жизни. Та святая слепота, которая делает мужчину крылатым или сумасшедшим, была обеспечена ему от рождения.

Ему ничего не надо было от любимой, только находиться поблизости, видеть ее крымские веснушки цвета свежей барабульки и слышать ее голос профессиональной плакальщицы.

Когда она приходила к тете что-нибудь шить, он усаживался рядом и смотрел на нее томными глазами.

— И за что только он меня так любит? — говорила она, если у нее было хорошее настроение.

Дядя и дня не мог прожить без нее. Возле комнаты тети Фаины была кухонная пристроечка, собственно говоря, базарный ларечек, купленный по дешевке ее мужем. Целыми днями она возилась в этой кухоньке, время от времени выглядывая во двор, чтобы увидеть, кто куда прошел, и стараясь угадать у соседок по выражению их лиц, не дают ли где-нибудь дефицитных товаров. Когда она выглядывала оттуда, вид у нее был какой-то испуганный, как будто она боялась, что, пока она возится с обедом, может упустить что-то важное для жизни или кто-нибудь ее просто прихлопнет. Такой вид бывает у птицы, которая увлеченно что-то клюет, а потом вдруг, вспомнив про опасность, быстро подымает голову и осторожно озирается.

Так вот, дядя обычно подходил к этой кухоньке с тыльной стороны и, наклонившись к фанерной стене, следил за ней в щелочку. Он ничего не мог увидеть, кроме ее стряпни, но, видимо, этого ему было достаточно. Так он мог стоять часами и наблюдать за ней, пока она не выходила из себя и не кричала тете через весь двор:

— Скажите ему, что у меня есть муж, он опять за мной ухаживает.

Тетя гнала его домой и ругала, правда, больше для виду. Застигнутый на месте преступления, бедняга чувствовал постыдность своей страсти и, проходя мимо тети, неопределенно пожимал плечами, показывая, что это сильнее его.

— Купите ему воду с двойной сироп, и пусть он успокоится, — советовала тетя Фаина.

Но, видимо, вода с двойным сиропом была слишком слабым утешением. Через час или два дядя сбегал из-под надзора бабушки и снова проникал в заветный уголок.

Вечером, когда приходил с работы муж тети Фаины; она рассказывала ему о своих дневных горестях, не забывая и дядю. Муж ее был косоглазый сапожник, мирный и добрый человек.

— Я люблю, когда все тихо. Моя жена никому не мешает, — говорил он полугромко, так, чтобы никто не обижался, но было видно, что он защищает свою жену. При этом он затыкал или замазывал замазкой очередную дырочку, пробитую дядей в кухонной стене.

Взрослые часто говорили об этой необычной любви. Видимо, для многих из них она сама по себе была достаточно ненормальным признаком.

Говорили при нем, думая, что он ничего не понимает. Но я уверен, что тут он догадывался, о чем идет речь. В такие минуты я замечал в глазах его выражение страдания и стыда, замечал мелкое дрожание губ, а иногда невольный протестующий жест рукой. Как будто он хотел сказать: отстаньте, как вам не стыдно!

Он любил ее до конца своих дней, так ни разу не удостоившись внимания своей жестокой возлюбленной.

Умер дядя вскоре после бабушки. Он по ней очень скучал и все спрашивал, куда она уехала, хотя она умерла при нем. О смерти ее он быстро забыл, но о жизни помнил, потому что эта жизнь окружала его безумие человеческой теплотой и любовью. Ведь неразумных детей матери любят сильнее — они больше других нуждаются в их защитной любви.

Тетя потом говорила, что перед самой смертью к дяде пришла ясность ума, как будто судьба на мгновение решила ему показать, каково быть в здравом рассудке. И это

вдвойне жестоко, потому что такой короткой вспышки могло хватить только на то, чтобы ощутить всю бесчеловечность перехода из одной пустоты в другую.

Но я думаю, что тете это только показалось. Она любила, чтобы все было красиво, а для этого ей приходилось многое преувеличивать.

Сейчас я жалею, что ничего хорошего ему в жизни не успел сделать. Разве что угощал его сладкой водичкой, да в баню с ним ходил. Он очень любил мыться. В бане он ничем не отличался от остальных посетителей и только больше других стеснялся, каким-то библейским жестом руки стараясь прикрыть свою наготу.

Я вспоминаю чудесный солнечный день. Дорога над морем. Мы идем в деревню. Это километров двенадцать от города. Я, бабушка и он. Впереди дядя, мы едва за ним поспеваем. Он обвешан узелками, в руках у него чемоданы, а за спиной самовар. Начало лета. Еще не пыльная зелень и не знойное солнце, а навстречу упругий морской ветерок, дорожной сладостью новизны, охлаждающий грудь. Бабушка попыхивает сигаркой, постукивает палкой, а впереди дядя с солнечным самоваром за спиной. И он поет свои бесконечные песенки, потому что ему хорошо и он чувствует бодрую свежесть летнего дня, заманчивость этого маленького путешествия.

Нет, все-таки жизнь и его не обделила счастливыми минутами. Ведь он пел, и пенье его было простым и радостным, как пенье птиц.

## КОЛЧЕРУКИИ

Я уже писал, что однажды в детстве, ночью, пробираясь к дому одного нашего родственника, попал в могильную яму, где провел несколько часов в обществе приبلудного козла, пока меня оттуда не извлек, вместе с козлом, один проезжий крестьянин. Дело происходило во время войны.

Через некоторое время после моего ночного приключения с козлом в могильной яме мы, то есть мама, сестра и я, стали жить в этой деревне. Сначала мы жили у маминой сестры, а потом наняли комнату в одном доме и переехали туда.

В этом доме до войны жили три брата. Теперь все они были в армии. Один из них успел жениться, и на весь дом оставалась его юная, цветущая и не слишком скучающая жена. Вспоминая ее я прихожу к выводу, что соломенная вдова потому и называется соломенной, что воспламеняется легко, как солома.

При нас один из братьев вернулся, и именно тот, что был женат. Он как-то слишком бесшумно вернулся. Однажды утром мы его увидели на кухне. Он сидел перед горящим очагом и жарил на вертеле кукурузный початок, словно сам себе напоминал довоенное детство. Было похоже, что лучше бы ему пока не возвращаться. А, может быть, лучше бы ему было подождать с женитьбой, потому что, мне кажется, он скучал по жене и это ускорило его возвращение.

С какой-то обреченной жадностью с недельку он возился в саду, а потом его взяли, и немного позже мы узнали, что он был дезертиром. Его взяли так же бесшумно, как он пришел.

Постепенно мы освоились на новом месте. Сестра устроилась работать в колхозе учетчицей, нам выделили участок земли, на котором мы выращивали дыни и кукурузу. Тыквы тоже выращивали. Кроме того, мы выращивали огурцы и помидоры. Мы все тогда выращивали.

Оказывается, недалеко от нас жил тот самый человек, в чью могильную яму я тогда угодил. Кстати, про эту могильную яму в деревне говорили, что в нее попадают все, кроме того, кому она предназначалась. История ее оказалась сложной и запутанной. Будущий владелец ее, если можно так сказать, старик Шаабан Ларба, по прозвищу Колчерукий, лежал, говорят, в городской больнице не то с аппендицитом, не то с грыжей (хотя по-русски правильной было бы сказать Сухорукий, но Колчерукий точнее соответствует духу, а следовательно, и смыслу прозвища). Так вот, Колчерукому сделали операцию, и он спокойно выздоравливал, когда неожиданно позвонили из больницы в сельсовет и сказали, что больной умер и его надо срочно забрать домой, потому что он уже второй день лежит мертвый.

В это время в больнице никого из родственников не было, потому что он сам вот-вот должен был выписаться. Правда, в эти дни в городе был односельчанин Мустафа, который поехал туда по своим надобностям, и ему, кстати, поручили заглянуть в больницу и узнать, чего Колчерукий не возвращается и не решил ли он заодно с грыжей или аппендицитом избавиться от своей колчерукости. И вдруг такая неожиданная весть.

Родственники, по нашим обычаям, разослали в соседние деревни горевестников, натянули во дворе укрытие из плащ-палатки, где собирались устроить тризну, и даже вырыли на кладбище эту самую яму.

Колхоз выделил свою единственную машину, чтобы привезти покойника, потому что в те времена, в связи с войной, сделать это частным путем было трудно. Одним словом, все честь по чести, как у людей. Все, как у людей, кроме самого покойника Шаабана Ларба, который и при жизни никому, говорят, покою не давал, а после смерти и вовсе распоясался.

На следующий день после печального известия приехала машина с покойником, который оказался живым.

Говорят, Колчерукий, слегка придерживаемый Мустафой, громко ругаясь, вошел в свой двор. Его возмутила не весть о его смерти и приготовления к похоронам, а то, что он сразу заметил, взглянув на укрытие из плащ-палатки. Из-за этого укрытия пришлось у двух яблонь срезать ветки. Колчерукий, ругаясь, тут же показал, как надо было протягивать брезент, чтобы не трогать деревьев.

Потом он, говорят, обошел гостей, здороваясь с каждым и пытливо вглядываясь в глаза, чтобы узнать, какое впечатление на них произвела весть о его смерти, а заодно и неожиданное воскресение.

После этого он, говорят, поставил над глазами свою усыхающую, но так и не усохшую за двадцать лет руку, стал нахально оглядывать плакальщиц, как бы не понимая, зачем они здесь.

— Вы чего? — громко спросил он.

— Мы ничего, — ответили они, смутившись, — мы приехали тебя оплакивать.

— Ну, так начинайте, — говорят, сказал Колчерукий и приставил ладонь к уху, чтобы внимательно слушать свое оплакивание. Но тут кто-то вмешался и отвел плакальщиц от него.

Увидев приношения родственников, говорят, Колчерукий призадумался. Дело в том, что у нас всякого рода поминки устраивают так широко, что если бы все это делалось за счет семьи умершего, живым ничего бы не оставалось, как ложиться и помирать.

Поэтому в таких случаях все родственники и соседи помогают. Кто принесет вино, кто жареных кур, кто хачапури, а тот, глядишь, и телку пригонит. И как раз один из родственников из соседнего села пригнал хорошую телку, которая Колчерукому особенно понравилась. Кстати, говорят, по размерам этого родственника и вырыли могильную яму, потому что он был примерно такого же роста, как и Колчерукий. Говорят, когда один из парней, которому поручили копать яму, подошел к нему со шпагатом, чтобы измерить его, он проявил недовольство, стал утверждать, что есть люди более подходящие, что он, пожалуй, повыше Колчерукого, а Колчерукий покоренастей.

При этом он пытался отстраниться от шпагата, но парень отстраниться ему не дал. Как и все могильщики, склонный к шутке, он сказал, что теперь коренастость Колчерукого ни к чему, что вообще в крайнем случае, если Колчерукий не подойдет, они его будут держать на примете.

Родственник, говорят, усмехнулся на эти шутки, но, видно, обиделся, потому что отошел к своим односельчанам и стоял среди них, хмуро поглядывая на свою телку, привязанную к забору.

Увидев все эти приношения, Колчерукий объявил, что радоваться рано, что он и чувствует себя плохо, да и выписали его, чтобы он не помер в больнице, потому что врачей за это штрафуют, как колхозников за брак. Он тут же лег в постель и дал распоряжение могильную яму не засыпать, а держать наготове. Родственники, говорят, неохотно разъехались. Особенно был недоволен тот, что приволок телку. Но Колчерукий его успокоил, уверив, что ждать теперь недолго, так что телка его навряд ли слишком похудеет, если даже ее не выпускать со двора.

Колчерукий с неделю пролежал в постели. Через пару дней после приезда его стали одолевать любопытные, потому что к этому времени разнесся слух, что Колчерукий, умерший в городской больнице, по дороге ожил и приехал на собственные похороны. Другие говорили, что он не умер, а уснул вечным сном, и доктора его никак не могли разбудить, но по дороге домой его так растрясло, что он проснулся.

Первое время Колчерукий принимал посетителей, особенно пока они приносили всякие гостинцы, как бывшему умершему и еще не окончательно ожившему. Но потом они ему надоели, да и председатель приказал выходить на работу. Так что он, говорят, заслышав скрип ворот, выбежал на веранду и кричал своим громким голосом: «Назад! Дармоеды! Собаку спущу!».

Кстати, слухи о его воскресении как-то сами по себе жили и развивались. Уже через год при нас я слышал, как в одной из соседних деревень говорили, что Колчерукий ожил не по дороге из больницы домой, а в самой могиле через несколько дней после того, как его похоронили. А услышал его какой-то мальчик, который вечером искал на кладбище свою козу. Так что пришлось его откопать. Не будь, говорят, у него такого громкого голоса, умер бы от голода или даже от жажды, потому что место ему выбрали сухое, хорошее.

Вот так вот и оказалось, что Колчерукий пережил или предотвратил свои похороны, правда, оставив за собой могилу в полной готовности.

Увидев живого Колчерукого, сначала в деревне решили, что это секретарь сельсовета подшутил над ними, потому что это он сообщил, что говорил с больницей или с тем, кто выдавал себя за больницу. Но секретарь сельсовета сказал:

— Как я мог так пошутить, когда сейчас военное время.

И все ему поверили, потому что так шутить в военное время даже для секретаря сельсовета слишком глупо. В конце концов решили, что в больнице что-то спутали, что умер какой-то другой старик, может быть, даже однофамилец Колчерукого, потому что Ларбовцев у нас в Абхазии великое множество.

С первых же дней, как мы стали жить в доме соломенной вдовушки, я уже слышал голос Колчерукого, хотя самого его не видел в глаза.

Ровно в полдень, возвращаясь с колхозной работы домой на обед, он метров за триста от своего дома начинал окликать старуху, проклиная ее и яростно справляясь, готова ли мамалыга к обеду.

На его крики старуха отвечала таким же яростным криком, и голоса их, не теряя ни силы, ни отчетливости, постепенно сближались, потом перехлестывались и, наконец, замолкали. Через некоторое время голос старухи победно выныривал из тишины, но Колчерукий молчал. Позже, когда я стал бывать у них, я понял, что старик молчит по той причине, что рот его занят едой, причем ел он с такой же яростью, так что ругаться одновременно он никак не мог.

Вечерами, возвращаясь с работы, он таким же голосом справлялся насчет своей лошади, скотины или своего внука Яшки и опять же насчет той же мамалыги к ужину.

Потом я познакомился и подружился с этим Яшкой, таким же громогласным, как его дед, но, в отличие от него, добродушным ротозеем. Обычно Колчерукий возил его в школу верхом на своей лошади. Всю дорогу он ругался, что приходится возить его в школу и тратить драгоценное время на этого лоботряса. Яшка молча сидел за дедом, держась за его пояс, и, смущенно улыбаясь, глядел по сторонам.

Если дед бывал в отъезде, в школу его возила бабка на этой же лошади, и он так же сидел за нею и только не позволял ей подъезжать к самой школе, чтобы мальчишки над ним не смеялись. Мы с ним учились в разные смены. Возвращаясь из школы, я их встречал где-нибудь на полпути в школу, и Яшка, вывернув голову, долго-долго, тоскливо смотрел мне вслед, что служило поводом для дополнительной ярости Колчерукого. Яшку приходилось возить

в школу, потому что она была в трех километрах от дома, а Яшка был так рассеян, что иногда забывал, куда идет, и сворачивал в сторону.

В первое время, увидев меня на улице, Колчерукий ставил ладонь козырьком над глазами и спрашивал:

— Ты чей будешь?

— Я сын такой-то, — учтиво отвечал я ему и называл маму, которую он хорошо знал еще с давних пор.

— А кто она такая? — спрашивал он громогласно и еще пристальней смотрел на меня из-под своей колчерукой ладони.

— Она сестра жены дяди Мексута, — объяснял я, хотя и понимал, что он притворяется.

— Так вы те самые городские дармоеды? — кивал он в сторону нашего дома.

— Да, — уклончиво подтверждал я, что это мы здесь живем, одновременно как бы отчасти признавая и наше дармоедство.

Он стоял передо мной, удивленно вглядываясь в меня буравчиками глаз, небольшого роста, коренастый, с широкой, по-петушиному красной шеей. Стоял, удивленно вглядываясь в меня, словно осмысливая меня целиком, одновременно прислушиваясь к чему-то постороннему, к тому, что происходило за забором в кукурузе его приусадебного участка, словно по шорохам, по возне, по каким-то ему одному уловимым звукам точно определял все, что делается у него на усадьбе, во дворе и, может быть, в самом доме.

— Так это ты провалился в мою могилу? — спрашивал он неожиданно, продолжая прислушиваться к тому, что делается у него на усадьбе и уже улавливая там какие-то ненормальности и недовольно похмыкивая по этому поводу.

— Да, — отвечал я, с тайной опаской наблюдая за ним, потому что чувствовал, что он начинен какой-то взрывчатой силой.

— Ну и как тебе там показалось? — спрашивал он, продолжая прислушиваться и постепенно возбуждаясь тем, что там происходило, и уже бормоча вполголоса: — Вымерла, что ли, эта старуха... Чтоб она ослепла... Разорит меня, старая дура...

— Хорошо, — отвечал я, стараясь проявить благодарность за гостеприимство. Все-таки это была его могильная яма.

— Место хорошее, сухое, — соглашался он, уже поскуливая от возмущения тем, что происходило у него на усадьбе, и внезапно срывался и кричал своей старухе, с места, без разгону, взяв самую высокую ноту: — Эй ты, что-то там хрупают на огороде, хрупают! Чтоб твои уши полопали — свиньи, свиньи!

— Чтоб я их с тобой в твою могилу уложила, вечно тебе мерещатся свиньи! — сразу же отзывалась старуха.

— Я же слышу — чавкают и хрупают, чавкают и хрупают! — кричал он, уже забыв про меня, и голоса их склестывались, и он, словно ухватившись за конёк ее крика, подтягивался на нем и быстро двигался в сторону дома, одновременно перебрасывая ей свой клокочущий голос.

Постепенно мы привыкли к его голосу и уже не обращали на него внимания, и даже, когда он куда-нибудь уезжал на несколько дней и вдруг все замолкало, становилось как-то странно, словно чего-то не хватало; словно какой-то пустой звон в ушах раздавался.

Жена его, высокая, выше его, невероятно худая старуха, иногда, когда его не было дома, приходила к нам поговорить с мамой. Бывало, приносила с собой круг сыру, или миску кукурузной муки, или кусочек пахучего, сушеного над костром мяса. Смущенно посмеиваясь, она просила спрятать то, что принесла, и, ради бога, никаких благодарностей, только чтобы этот крикун ее ничего не знал.

Они часами о чем-то говорили с мамой, а жена Колчерукого все курила, скручивая сигарку за сигаркой. Внезапно раздавался голос Колчерукого. Он кричал ей что-нибудь, в сторону дома, а она, прислушиваясь к его голосу, тряслась от затаенного смеха, словно боялась, что он услышит ее смех, и в то же время ее забавляло, что он кричит не в ту сторону.

— Ну, чего тебе, я здесь! — отвечала она наконец.

— Ага, дармоедки! Нашли друг друга! В кумхоз вас обеих! В кумхоз! — выкрикивал он после мгновенной паузы, словно онемев от возмущения ее вероломством.

Однажды он подъехал к воротам нашего дома и крикнул мне, чтобы я вынес мешок. Громко ругаясь на то, что этим дармоедам только жуй и в рот клади, он высыпал

мне полмешка муки и, продолжая возмущаться тем, что дает свою кукурузу, да еще на мельницу возит ее на своей же лошади, он приторочил свой мешок к седлу и уехал. Отъезжая, он еще крикнул, чтобы этой ничего не говорить насчет муки, потому что и так ему нет никакого житья от ее крику.

Время шло, а Колчерукий, судя по всему, умирать не собирался. Чем дольше не умирал Колчерукий, тем пышнее расцветала телка; чем пышнее расцветала телка, тем грустнее становился ее бывший хозяин. В конце концов, он прислал человека к Колчерукому, чтобы тот намекнул насчет телки. Так, мол, и так, слава богу, что он остался жив, но телку следовало бы прислать назад, потому что он ее не дарил Колчерукому, а пригнал на похороны, как хороший родственник.

— Принес яйцо, а хочет взять курицу, — говорят, сказал Колчерукий, выслушав намек. Потом он, говорят, подумал и добавил: — Скажи ему, что, если я скоро умру, можно будет ему приходиться без приношенья, а если он умрет, я приду в его дом, как хороший родственник, и пригоню телку от его телки.

Родственник Колчерукого, узнав о его условиях, говорят, обиделся и велел передать Колчерукому уже без всяких намеков, что ему не надо никакой телки, тем более после смерти, что он хочет при жизни получить собственную телку, которую он ему пригнал на похороны, как хороший родственник. А раз Колчерукий до сих пор не умер, значит, надо возратить телку хозяину. При этом он дал слово, что несмотря на то, что в доме Колчерукого его, измерив шпагатом, унизили, если Колчерукий и в самом деле умрет, он снова пригонит ее.

— Этот человек заставит меня лечь в могилу из-за своей телки, — говорят, сказал Колчерукий, услышав новые разъяснения. — Передайте ему, — добавил он, — что теперь недолго ждать, так что не стоит мучить несчастное животное.

Через несколько дней после этого разговора Колчерукий пересадил из своего огорода на свою могилу пару персиковых саженцев. Возможно, он это сделал, чтобы освежить представление о своей обреченности. Мы с Яшкой помогали ему. Но, видимо, двух персиковых саженцев ему показалось мало. Через несколько дней он ночью вырыл

на плантации тунговое дерево и посадил его между этими персиковыми саженцами. Вскоре об этом все узнали. Колхозники, посмеиваясь, говорили, что Колчерукий собирается травить покойников тунговыми плодами. Никто не придавал значения этой пересадке, потому что тунговые деревья никто ни до него, ни после него в деревнях не крал, потому что они крестьянам ни к чему, а плоды тунга смертельно ядовиты, так что, значит, в какой-то мере даже опасны.

Бывший хозяин телки тоже замолк. То ли поверил в обреченность Колчерукого, после того как он пересадил на свою могилу тунговое дерево, то ли, боясь его языка, не менее ядовитого, чем тунговые плоды, решил оставить его в покое.

Кстати, рассказывают, что Колчерукий через свой язык в молодости и стал Колчеруким. Дело было так.

Говорят, после какой-то пирушки местный князь в окружении многочисленных гостей сидел во дворе хозяина дома. Князь ел персики, состругивая с них кожуру перочинным ножичком с серебряной цепочкой. Хотя перочинный ножичек с серебряной цепочкой никакого отношения к последующим событиям не имеет, все рассказчики упоминали про этот ножичек, неизменно добавляя, что он был с серебряной цепочкой. Пересказывая этот случай, я хотел избежать перочинного ножичка с серебряной цепочкой, но чувствую, что почему-то должен его упомянуть, что в нем есть какая-то правда, без которой что-то пропадает, а что, я и сам не знаю.

Одним словом, князь ел персики и, благодумствуя, вспоминал свои любовные радости. В конце концов он, говорят, оглядел хозяйский двор и сказал, вздохнув:

— Если б всех моих женщин собрать, пожалуй, не вместились бы в этот двор.

Но Колчерукий, говорят, уже тогда никому благодумствовать не давал, несмотря на свою молодость. Говорят, он высунулся неизвестно откуда и сказал:

— Интересно, сколько бы коз заблелало в этом дворе?

Этот довольно пожилой князь, говорят, был большой ценитель женской красоты, но, кроме того, его подозревали в древнегреческом грехе, разумеется, если этому греху положили начало именно древние греки. Я лично думаю, что этому греху мог положить начало любой народ, зани-

мающийся скотоводством. А так как все народы в свое время прошли скотоводческую стадию развития, а некоторые ее все еще проходят, как человек, воспитанный в презрении к национальным предрассудкам, считаю, что все они независимо друг от друга могли положить начало этому греху.

Но вернемся к нашему престарелому феодалу. Говорят, в местных кругах князь скромно гордился умением так состругивать кожуру с фруктов, что ленточка кожуры ни разу не прерывалась, пока он полностью не очистит плод. Умение это не изменяло ему даже после бессонной ночи и длительной попойки. Сколько, говорят, за ним ни следили, сколько ни пытались его отвлечь, он так и не ошибся ни разу. Иногда ему нарочно подсовывали плод самой замысловатой и уродливой формы, но он, говорят, рассмотрев его со всех сторон, тут же доставал свой ножичек с серебряной цепочкой и безошибочно пускал его по единственно правильному пути.

Обычно, срезав вьющуюся спиралькой кожуру, он поднимал ее и показывал окружающим. А если среди них была красивая девушка, он подзывал ее и подвешивал эту фруктовую ленточку ей за ухо.

Мне кажется, Колчерукого раздражало это искусство князя. Я думаю, что он издавна следил за ним и был уверен, что рано или поздно ленточка должна оборваться. Возможно, Колчерукий в тот раз возлагал особенно большие надежды на какой-то из этих персиков, но князь его вполне удачно обработал, да еще стал хвастаться своими женщинами, хотя, по слухам, оказывал знаки внимания и хорошеньким козочкам. Согласитесь, что тут было отчего взорваться Колчерукому, да еще молодому.

Говорят, после его неожиданных слов князь побагровел и, потеряв дар речи, глядел на Колчерукого выпученными глазами. При этом он продолжал держать в правой руке уже очищенный сочащийся персик, а в левой все тот же перочинный ножичек с серебряной цепочкой.

От ужаса все вокруг замолкли, а князь, не моргая, продолжал смотреть на Колчерукого, и рука его с персиком беспокойно двигалась по воздуху, словно чувствуя неуместность в такую минуту этого сентиментального персика, не говоря уж о том, что невозможно выхватить пистолет из кобуры, одновременно держа в ладони персик, да еще очи-

щенный. Говорят, рука его даже склонилась к земле, чтобы наконец освободиться от этого персика, но в последнее мгновение как-то не решилась, ведь персик-то был оструган, и она, хорошо воспитанная княжеская рука, чувствовала, что очищенный персик никак нельзя положить на землю.

И вот она снова поднялась, эта рука, и мучительное мгновение шарила по воздуху в поисках невидимой тарелки, чувствуя, что кто-то должен подсунуть ей тарелку, но все оцепенели от страха, и никто не догадался помочь ему освободиться от этого, теперь уже непристойно оголенного персика. И тут, говорят, к нему на помощь пришел сам Колчерукий.

— Да сунь ты его в рот! — говорят, подсказал он ему.

Не успели гости очнуться от новой дерзости, как стали свидетелями необъяснимого самоунижения князя, который, говорят, с какой-то позорной поспешностью стал заталкивать в рот мокрый, сочащийся персик, продолжая смотреть на Колчерукого ненавидящими глазами. Наконец, кое-как справившись с персиком, он полез за пистолетом. Все еще глядя на Колчерукого выпученными ненавидящими глазами, он молча рылся у пояса, но от сильного волнения или, как уточняют другие, оттого, что у него были скользкие после персика руки, он никак не мог расстегнуть кобуру.

Может быть, еще кто-нибудь и опомнился бы, может быть, успел бы схватить князя за руку или, в крайнем случае, пинком отбросить Колчерукого в сторону, так что стрелять в него стало бы невозможно и даже опасно для других, но тут, говорят, в тишине в последний раз раздался голос Шаабана. Не в том смысле, что после этого его голос не раздавался, скорее напротив, он стал еще громче и насмешливей, а в том смысле, что после этой фразы он уже перестал быть просто Шаабаном, а стал Шаабаном Колчеруким.

— Там-то он, наверное, быстрее расстегивает, — говорят, сказал он, — потому как козы ждать не любят...

Говорят, он это сказал как-то задумчиво, вроде бы размышляя вслух. Но тут старый князь наконец справился со своей кобурой — раздался выстрел, женщины подняли вопль, и, когда рассеялся дым, Колчерукий уже был самим собой, то есть Колчеруким. Потом у него спрашивали, почему он после первого оскорбления продолжал дразнить князя.

— Уже не мог остановиться, — отвечал Колчерукий.

Позже, когда князь ушел с меньшевиками, а у нас окончательно и бесповоротно установилась советская власть, Колчерукий стал утверждать, что у него с князем были свои, чуть ли не партизанские счеты, что разговор этот был только поводом или следствием других, более важных вещей.

Одним словом, несмотря на княжескую пулю, Колчерукий продолжал над всеми подшучивать, и шутки его, кажется, не становились безобидней.

Слоняясь по деревне, я его часто видел на табачной или чайной плантации или на прополке кукурузы. Если у него бывало хорошее настроение, он просто дурачился, и тогда все кругом покатывались со смеху.

Он умел подражать голосам знакомых людей и животных, особенно у него получался петушиный крик.

Бывало, в поле бросит мотыгу, разогнется, посмотрит по сторонам и зальется петухом. Почти сразу же откликаются петухи из соседних домов. Все вокруг смеются, ближайший петух продолжает звать его, а он берется за свою мотыгу и приговаривает: «Много ты понимаешь, дурак».

У нас, как, вероятно, у всех, принято считать, что петухи поют со значением, чуть ли не провидят судьбы своих хозяев. Колчерукий, можно сказать, разоблачал петухов, этих сельских провидцев. Надо сказать, что Колчерукий, несмотря на свою полувысохшую руку, работал как черт. Правда, иногда, когда проносился слух, что начинается подписка на заем или мобилизуют оставшихся мужчин на лесозаготовку, он вдевал свою левую руку в чистую красную повязку и ходил в таком виде, пока считал нужным. Думаю, что эта красная повязка ему мало чем помогала, особенно в подписке на заем она ему никак не могла мешать, но все же, видимо, давала лишнюю возможность поспорить, поязвить, понадсмехаться.

Я думаю, что и красную повязку он себе завел, чтобы придать пострадавшей руке военно-партизанский вид. Из бдительности он после каждого вызова в правление вдевал свою руку в повязку, садился на лошадь и ехал. В накинутой бурке, с рукой в красной повязке, верхом на лошади он и в самом деле имел довольно бравый военно-партизанский вид.

Все было хорошо, но вдруг стало известно, что председатель сельсовета получил анонимное письмо против Кол-

черукого. В нем говорилось, что в посадке тунгового дерева на могилу скрывается насмешка над новой технической культурой, намек на ее бесполезность для живых колхозников, как бы указание на то, что ей настоящее место на деревенском кладбище.

Председатель сельсовета показал это письмо председателю колхоза, и тот, говорят, не на шутку перепугался, потому что могли подумать, что он, председатель, подучил Колчерукого пересадить тунговое дерево к себе на могилу.

Я тогда никак не мог понять, почему все обернулось так грозно, когда и до этой бумаги все знали, что он пересадил деревце тунга на свою могилу. Я тогда не знал, что письмо — это документ, а документ потребовать могут, за него надо отвечать.

Правда, еще говорили, что председатель сельсовета мог бы не давать ему ходу, но он, говорят, имел зуб на Колчерукого и потому показал письмо председателю колхоза.

Одним словом, письму был дан ход, и однажды по этому поводу из райцентра прибыл какой-то человек, чтобы выяснить истину. Колчерукий пробовал отшучиваться, но, видно, все-таки струхнул, потому что побрился, продел свою руку в красную повязку и ходил по деревне, глядя на руку с таким видом, словно она вот-вот должна взорваться, а ему, да и окружающим только и остается, что остерегаться осколков.

— Ну, все, — говорил старый лошадиный Мустафа, друг и вечный соперник Колчерукого, — теперь лопай свои тунговые яблоки и залезай в свою могилу, а то в Сибирь отправят.

— Сибирь не боюсь, боюсь ты мою могилу займешь, — отвечал Колчерукий.

— В Сибирь, говорят на собаках ездят, — пугал его Мустафа, — так что забери с собой уздечку, может, объездишь себе какого пса. Будет тебе и лаять и возить.

Надо сказать, что между Колчерукиным и Мустафой было давнее соперничество в лошадином деле. У каждого из них были свои подвиги и неудачи. Колчерукий покрыл себя когда-то немеркнувшей славой тем, что в Мингрелии во время скачек на глазах у многотысячной толпы (положим, толпа была не такой уж многотысячной) увел какого-то знаменитого жеребца. Говорят, сам Колчерукий сидел на такой замордованной кляче и выглядел так потешно, что,

когда он попросил у хозяина жеребца испробовать его ход, тот для смеха разрешил ему, уверенный, что через минуту жеребец его сбросит на землю и от этого станет еще более знаменитым.

Колчерукий, говорят, на пузе слез со своей клячки и, передавая повод хозяину жеребца, сказал:

— Считай, что мы обменялись.

— Хорошо, — со смехом ответил хозяин, беря у него поводья.

— Главное, в первый раз не дай себя сбросить, а то затопчет, — предупредил Колчерукий и подошел к жеребцу.

— Постараюсь, — говорят, со смехом отвечал хозяин и, как только Колчерукий взобрался на жеребца, дал знак какому-то парню, стоявшему сзади, и тот изо всех сил хрястнул жеребца камчой.

Жеребец взвился и помчался в сторону Ингури. Говорят, Колчерукий сначала держался, как пьяный мулла на скачущем ослике.

Все ждали, что он вот-вот сорвется, а он все шел и шел вперед, и у хозяина начала отваливаться челюсть, когда Колчерукий доехал до конца поляны, но не свернул по кругу естественного ипподрома, а летел все дальше и дальше в сторону реки. Еще несколько минут ждали, думали, что просто лошадь отняла у него поводья, что он ее не смог завернуть, но потом поняли, что это неслыханный по своей дерзости угон.

Минут через пятнадцать за ним мчалась дюжина всадников, но уже ничего не могли сделать.

Колчерукий с ходу с обрыва бросился в реку, и, когда погоня добралась до обрыва, он уже выходил на том берегу, мокрым крупом коня на мгновение просверкнув в прибрежном ольшанике. Пули, посланные вслед, не достигли цели, а прыгать с обрыва никто не осмелился. С тех пор, говорят, это место названо Обрывом Колчерукого. Колчерукий при мне сам никогда не рассказывал эту историю, зато давал ее пересказать другим, сам с удовольствием слушая и внося некоторые уточнения. При этом он всячески подмигивал в сторону Мустафы, если тот был рядом. Мустафа делал вид, что не слушает, но в конце концов не выдерживал и пытался как-нибудь унижить или высмеять его подвиг.

Мустафа говорил, что человек, которому уже прострелили одну руку, можно сказать порченный человек, и поэтому, пускаясь на дерзость, он не слишком многим рискует. А если он и спрыгнул с обрыва, то, во-первых, спрыгнул от страха, а потом ему ничего другого не оставалось делать, потому что, поймай его погоня, все равно бы пристрелили.

Одним словом, у них было давнее соперничество, и если раньше они его разрешали на скачках, то теперь, по старости, хотя и продолжали держать лошадей, споры свои разрешали теоретически, отчего они у них часто заходили в дебри зловещих головоломок.

— Если в тебя человек стреляет с этой стороны, а ты, скажем, едешь вон по той тропе, куда ты поворачиваешь лошадь при звуке выстрела, и притом вокруг ни одного дерева? — спрашивал один из них.

— Скажем, ты скачешь в гору, а за тобой гонятся люди. Впереди — справа мелколесье, а слева — овраг. Куда ты свернешь лошадь? — допытывался другой.

Эти споры велись двумя людьми, изможденными долгим трудовым днем, возвращавшимися домой с мотыгами или с топорами на плечах. Споры эти длились многие годы, хотя вокруг уже давно никто не стрелял, потому что люди научились мстить за обиды более безопасным способом. К одному из этих способов, а именно анонимному письму, кстати, пора возвратиться.

Приехавший из райцентра добивался, чтобы старик рассказал об истинной цели пересадки тунгового дерева, а главное, раскрыл, кто его подучил это сделать. Колчерукий отвечал, что его никто не подучивал, что он сам захотел после смерти иметь тунговое дерево над своим изголовьем, потому что ему давно приглянулась эта невиданная в наших краях культура. Приехавший не поверил.

Тогда Колчерукий признался, что надеялся на ядовитые свойства не только плодов, но и корней тунга, он надеялся, что корни этого дерева убьют всех могильных червей, и он будет лежать в чистоте и в спокойствии, потому что от блох ему и на этом свете спокойствия не было.

Тогда, говорят, приезжий спросил, что он подразумевает под блохами. Колчерукий ответил, что под блохами он подразумевает именно собачьих блох, которые не следует путать с куриными вшами, которые его, Колчерукого ни-

сколько не беспокоят, так же как и буйволиные клещи. А если его что беспокоит, так это лошадиные мухи, и если он в жару подбросит под хвост лошади пару пригоршней суперфосфату, то колхозу от этого не убудет, а лошади отдых от мух. Приехавший понял, что его с этой стороны не подкусишь, и снова вернулся к тунгу.

Одним словом, как ни изворачивался Колчерукий, дело его принимало опасный оборот. На следующий день его уже не вызывали к товарищу из райцентра. Готовый ко всему, он сидел во дворе правления под тенью шелковицы и, не вынимая руки из красной повязки, курил в ожидании своей участи. Тут, говорят, прямо в правление, где совещались между собой председатель колхоза, председатель сельсовета и приехавший из райцентра, прошел Мустафа. Проходя мимо Колчерукого, он, говорят, посмотрел на него и сказал:

— Я что-то придумал. Если не поможет, тихонько, как есть, вместе со своей повязкой, ложись в могилу, а тунговых яблок я тебе натрушу.

На эти слова Колчерукий ему ничего не ответил, а только горестно взглянул на свою руку в том смысле, что он-то готов принять на себя любые страдания, но она-то за что будет страдать, и без того пострадавшая от меньшевистской пули?

Надо сказать, что Мустафа у местного начальства пользовался большим уважением, как умнейший мужик и самый богатый человек в колхозе. Дом у него был самый большой и красивый в деревне, так что, если приезжало большое начальство, его прямо отправляли в хлебосольный дом Мустафы.

То, что придумал Мустафа, было замечательно простым. Прибывший из райцентра был абхазцем, а если человек абхазец, то будь он приехавшим из самой Эфиопии, у него найдутся родственники в Абхазии.

Оказывается, ночью Мустафа тайно собрал у себя местных стариков, угостил, а потом с их помощью тщательно исследовал родословную товарища из райцентра. Тщательный и всесторонний анализ ясно показал, что товарищ из райцентра через свою двоюродную бабуку, бывшую городскую девушку, ныне проживающую в селе Мерхеулы, состоит в кровном родстве с дядей Мексутом. Мустафа остался вполне доволен результатом анализа.

С этим козырем в кармане он прошагал мимо Колчерукого в правление. Говорят, когда Мустафа сообщил об этом товарищу из райцентра, тот побледнел и стал отрицать свое родство с бабкой из Мерхеул и в особенности с дядей Мексутом. Но капкан уже захлопнулся. Мустафа только усмехнулся на его отрицание и сказал:

— Если не родственник, зачем побледнел?

Больше он не стал говорить, а спокойно вышел из помещения.

— Как быть? — спросил Колчерукий, увидев Мустафу.

— Потерпи до вечера, — сказал Мустафа.

— Решайте скорей, — ответил Колчерукий, — а то у меня рука совсем высохнет от этой повязки.

— До вечера, — повторил Мустафа и ушел.

В сущности, товарищ из райцентра, не признав родства с дядей Мексутом, нанес ему смертельное оскорбление. Но дядя Мексут сдержался. Он ничего никому не сказал, а только поймал свою лошадь и уехал в Мерхеулы.

К вечеру он вернулся на мокрой лошади, остановился у правления и дал поводья все еще ждущему своей участи Колчерукому. Председатель стоял на веранде и курил, глядя на Колчерукого и окружающую природу.

— Взойди, — сказал председатель, увидев дядю Мексута.

— Сейчас, — ответил дядя Мексут и, прежде чем взойти, сорвал с руки Колчерукого повязку и молча запихнул ее в карман. Говорят, Колчерукий так и остался с рукой на весу, как бы все еще сомневаясь и не принимая смысла этого символического жеста.

Дядя Мексут положил перед товарищем из райцентра желтое и готовое рассыпаться в прах свидетельство о рождении мерхеульской бабки, выданное нотариальной конторой еще дореволюционного Сухумского уезда.

Увидев это свидетельство, товарищ из райцентра, говорят, еще раз побледнел, но отрицать уже ничего не мог.

— Или тебе бабку поперек седла привезти? — спросил дядя Мексут.

— Бабку не надо, — тихо ответил товарищ из райцентра.

— Портфель с собой возьмешь или поставишь в неограемый шкаф? — еще раз просил дядя Мексут.

— Возьму с собой, — ответил товарищ из райцентра.

— Тогда пошли, — сказал дядя Мексут, и они покинули помещение.

В этот вечер в доме дяди Мексута устроили хлеб-соль и все обмозговали. На следующее утро в доме дяди Мексута, после длительного обсуждения, мне лично была продиктована справка на русско-кавказско-канцелярском языке.

— Наконец-то и этот дармоед пригодился, — сказал Колчерукий, когда я придвинул к себе чернильницу и замер в ожидании диктовки.

Справка обсуждалась руководителями колхоза с товарищем из райцентра. Колчерукий внимательно слушал и требовал перевести на абхазский язык каждую фразу. При чем он несколько раз уточнял формулировки в сторону завышения своих, как я теперь понимаю, социальных и деловых достоинств.

Особенно бурные споры вызвало место, где объяснялась его колчерукость. Колчерукий стал требовать, чтобы записали, что он пострадал от пули меньшевистского наймита, ссылаясь на то, что ранивший его князек впоследствии удрал с меньшевиками. Товарищ из райцентра хватался за голову и умолял быть точным, потому что он тоже отвечает перед своим начальством, хотя и уважает своих родственников. В конце концов подобрали такую формулировку, которой остались довольны все.

Справка сочинялась так долго, что покамест я ее писал своим колеблющимся почерком, выучил наизусть. Составители попросили меня громко зачитать ее, что я и сделал выразительным голосом. После этого они дали ее переписать секретарю сельсовета. Вот что было сказано в справке.

«Старик Шаабан Ларба, по прозвищу Колчерукий, которое он получил еще до революции вместе с княжеской пулей, впоследствии оказавшейся меньшевистской, с первых же дней организации колхоза активно работает в артели, несмотря на частично высохшую руку (левая).

Старик Шаабан Ларба, по прозвищу Колчерукий, имеет сына, который в настоящее время сражается на фронтах Отечественной войны и имеет правительственные награды (в скобках указывался адрес полевой почты).

Старик Шаабан Ларба, по прозвищу Колчерукий, несмотря на преклонный возраст, в это трудное время не

покладая рук трудится на колхозных полях, не давая отдыха своей пострадавшей вышеуказанной руке. Ежегодно он вырабатывает не менее четырехсот трудодней.

Правление колхоза, вместе с председателем сельсовета, заверяет, что тунговое дерево он пересадил на свою фиктивную могилу по ошибке, как дореволюционный малограмотный старик, за что будет оштрафован согласно уставу сельхозартели. Правление колхоза заверяет, что случаи пересадки тунговых деревьев с колхозных плантаций на общественное кладбище и тем более на личные приусадебные участки никогда не носили массового характера, а носят характер единичной несознательности.

Правление колхоза заверяет, что старик Шаабан Ларба, по прозвищу Колчерукий, никогда не надсмехался над колхозными делами, а, согласно веселому и остроумному, как абхазский перец, характеру, надсмехался над отдельными личностями, среди которых немало паразитов колхозных полей, которые являются героями в кавычках и передовиками без кавычек на своих собственных приусадебных участках. Но таких героев и таких передовиков мы изживали и будем изживать согласно уставу сельхозартели вплоть до изгнания из колхоза и изъятия приусадебных участков.

Старик Шаабан Ларба благодаря своему народному таланту передразнивает местных петухов, чем разоблачает наиболее вредные мусульманские обычаи старины, а также развлекает колхозников, не прерывая полевых работ».

Справка была заверена печатью и подписана председателем колхоза и председателем сельсовета.

Закончив дело, гости вышли на веранду, где были выпиты прощальные стаканы «изабеллы», и товарищ из райцентра через одного из членов правления дал намек, что не прочь послушать, как Колчерукий передразнивает петухов. Колчерукий не заставил себя упрашивать, а тут же поднес свою бессмертную руку ко рту и дал такого ку-ка-ре-ку, что все окрестные петухи сорвались, как цепные собаки. Только хозяйский петух, на глазах которого произошел весь этот обман, сначала обомлел от негодования, а потом так раскудахтался, что его вынуждены были прогнать со двора в огород, потому что он оскорблял слух товарища из райцентра и мешал ему говорить.

— Воздействует на всех петухов или только на местных? — спросил товарищ из райцентра, подождав, пока прогонят петуха.

— На всех, — с готовностью пояснил Колчерукий, — где хотите попробуйте.

— Действительно народный талант, — сказал тот, и они все ушли, попрощавшись с дядей Мексутом, который проводил их до ворот и немного дальше.

Председатель колхоза точно выполнил обещанное в справке. Он оштрафовал Колчерукого на двадцать трудодней. Кроме того, приказал пересадить назад тунговое дерево и навсегда засыпать могильную яму во избежание несчастных случаев со скотом. Колчерукий вновь откопал тунговое дерево и пересадил его на плантацию, но оно, не выдержав всех этих мучений, долгое время находилось в полувывсохшем состоянии.

— Как моя рука, — говорил Колчерукий. Могилу свою он сумел отстоять, огородив ее довольно красивым штaketником с воротцами на щеколде.

После того, как затихла история с анонимным письмом, родственник Колчерукого снова через одного человека осторожно напомнил ему насчет телки.

Колчерукий отвечал, что теперь ему не до телки, потому что его опозорили и оклеветали, что он теперь и днем и ночью ищет клеветника и даже на работу ходит с ружьем. Что он не успокоится до тех пор, пока не вгонит его в землю, что он не пожалеет даже собственную могилу на этого человека, если этот человек своими размерами ее не слишком превосходит. Напоследок он передал, чтобы его родственник прислушивался и присматривался к окружающим, с тем чтобы при первом же подозрении дал ему, Колчерукому, сигнал, а за Колчерукиим дело не станет. Что только после выполнения своего мужского долга он, Колчерукий, утрясет с телкой и другими мелкими недоразумениями, вполне естественными в родственных делах близких людей.

Говорят, после этого родственник окончательно при молк и больше про телку не напоминал и старался не встречаться с Колчерукиим.

Все-таки на одном пиршестве они встретились. Уже изрядно выпивший, ночью, во время пения застольной песни,

допускающей легкие импровизации, Колчерукий несколько раз повторил одно и то же:

О, райда сиуа райда, эй,  
За телку продавший родственника...

Пел он, не глядя в его сторону, отчего тот, говорят, постепенно трезвел и в конце концов, не выдержав, спросил у Колчерукого через стол:

— Что ты хочешь этим сказать?

— Ничего, — говорят, ответил Колчерукий и оглядел его, как бы снимая с него мерку, — просто пою.

— Да, но как-то странно поешь, — сказал родственник.

— У нас в деревне, — объяснил ему Колчерукий, — все сейчас так поют, кроме одного человека...

— Какого человека? — спросил родственник.

— Догадайся, — предложил Колчерукий.

— Даже не хочу догадываться, — отмахнулся родственник.

— Тогда я сам скажу, — пригрозил Колчерукий.

— Скажи! — осмелился родственник.

— Председатель сельсовета, — промолвил Колчерукий.

— Почему не поет? — пошел напролом родственник.

— Не имеет права давать намек, — разъяснил Колчерукий, — как получающий государственную зарплату.

— Можешь доказать? — спросил родственник.

— Доказать не могу; поэтому пока пою, — сказал Колчерукий и снова оглядел родственника, как бы снимая с него мерку.

На них уже начал обращать внимание встревоженный хозяин, боявшийся, что ему испортят пиршество, которое он затеял по случаю награждения сына орденом Красного Знамени.

Снова грянула песня, и все пели, и Колчерукий пел вместе с другими, ничем особенным не выделяясь, потому что он чувствовал, что хозяин следит за ним. Но потом, когда хозяин успокоился, Колчерукий, улучив мгновение, снова подсочинил:

О, райда сиуа райда, эй,  
Оградил ее, родимую, штакетником...

Спел он. Но хозяин его все-таки услышал и, говорят, наполнив рог вином, подошел к ним.

— Колчерукий! — крикнул он. — Клянитесь нашими мальчиками, которые кровь проливают, защищая страну, что вы навсегда помиритесь за этим столом.

— Я про телку забыл, — сказал родственник.

— Что давно пора, — поправил его Колчерукий и обратился к хозяину. — Ради наших детей я землю грызть готов, пусть будет по-твоему, аминь!

И он, запрокинув голову, выпил литровый рог, не отнимая его ото рта, все дальше и дальше запрокидываясь, под общее, хоровое, помогающее пить: «Уро, уро, уро, у-ро-о...»

А потом грянул застольную, а родственник, говорят, настороженно ждал, как он пройдет то место, где можно импровизировать. И когда Колчерукий спел:

О, райда сиуа райда, эй,

О героях, идущих в огонь... —

родственник несколько мгновений стоял, со всех сторон осмысливая сказанное, и наконец, уяснив, что он никак не похож на героя, идущего в огонь, окончательно успокоился и сам присоединился к поющим.

Осенью мы сняли богатый урожай со своего участка и вернулись в город с кукурузой, тыквами, орехами и несметным количеством сухофруктов. Кроме того, мы заготовили около двадцати бутылок бекмеза, фруктового меда, в данном случае яблочного.

Дело в том, что по договоренности с бригадиром мы должны были собрать яблоки с одной старой яблони, с тем, чтобы половину урожая отдать колхозу, а половину себе.

В колхозе не хватало рабочих рук, просто некому было собирать яблоки, потому что все работали на основных культурах — чай, табак, тунг.

Получив разрешение на сбор яблок, мама в свою очередь договорилась с тремя бойцами рабочего батальона, стоявшего недалеко от деревни, что они нам помогут собрать, перетолочь и выварить из яблок бекмез, за что они получали половину половины нашего урожая.

Через неделю операция была блестяще завершена, мы получили двадцать бутылок тяжелого золотистого бекмеза (чистый доход), заменившего нам сахар на всю следующую зиму.

Таким образом, дав великолепный урок коммерческой изворотливости, мы покинули колхоз, и голос Колчерукого остался далеко позади.

И вот уже много лет спустя, проездом на охоту, я снова очутился в этой деревне.

В ожидании попутной машины я стоял у правления колхоза под тенью все той же шелковицы. Я смотрел на здание пустующей школы, на дворик, покрытый сочной травой, словно это была трава забвения, на эвкалиптовые деревья, которые мы когда-то сажали, на старый турничок, к которому мы бежали каждую перемену, и с традиционной грустью вдыхал аромат тех лет.

Редкие прохожие по деревенскому обычаю всех краев здоровались со мной, но ни они меня, ни я их не узнавал. Какая-то девушка вышла из правления колхоза с двумя графинами, подошла к колодцу и, лениво раскрутив ворот, набрала воды, медленно вытянула ведро и стала набирать воду в графины, поставленные на деревянную колоду. Она набирала воду сразу в оба графина, одновременно поливая их водой, как бы любуясь избытком прохлады. Выплеснула на траву остаток воды и, взяв мокрые графины, лениво пошла в сторону правления.

Когда она поднялась по ступенькам и вошла в дверь, я услышал, как оттуда навстречу ей выплеснулись голоса людей и снова все замолкло. Мне показалось, что все это уже когда-то было.

Какой-то парень на ржаво-скрипящем велосипеде проехал мимо меня, но потом, развернувшись с тугой раздумчивостью, подъехал ко мне и попросил закурить.

К багажнику велосипеда были приторочены две буханки. Я дал ему закурить и спросил у него, не знает ли он Яшку, внука Колчерукого.

— А как же, — ответил он, — Яшка — почтальон. Стой здесь, он скоро должен проехать на мотоцикле...

Парень, крепко, как пахарь за плуг, взявшись за руль, оттолкнулся и, обильно дымя сигаретой, повел дальше свой упирающийся, жалобно скрежещущий велосипед.казалось, и жаркая погода, и этот несмазанный велосипед, и даже две буханки хлеба, притороченные к багажнику, входили в условие какого-то неведомого пари, которое он собирался во что бы то ни стало выиграть.

Я стал всматриваться в дорогу. В самом деле, вскоре я услышал треск мотоцикла. Конечно, я узнал его только потому, что ожидал. На своем легком мотоцикле он выглядел, как Гулливер на детском велосипеде.

— Яшка! — крикнул я.

Он посмотрел в мою сторону, и мотоцикл испуганно остановился. В следующее мгновение он его, по-моему, слегка придавил к земле, и мотоцикл вовсе заглох.

Яшка выкатил его из-под себя, мы свернули с улицы и минут через пятнадцать лежали в тенистых зарослях папоротника.

Большой, дородный, с ленивой улыбкой на лице, он лежал рядом со мной, все еще похожий на того Яшку, который сидел на лошади за дедом и рассеянно смотрел по сторонам. До недавнего времени, оказывается, он был бригадиром, но в чем-то провинился, и его теперь назначили почтальоном. Он мне об этом рассказал все с той же улыбкой. Еще в школьные годы было видно, что тщеславие не его слабость.

Кажется, дед его все запасы родовой ярости истратил сам, так что на Яшку ничего не осталось, а может, он и истратил их на себя, чтобы Яшке просто незачем было приходить в ярость. Какая разница — бригадир так бригадир, почтальон так почтальон. Только, пожалуй, голос его такой же густой и сильный, как у деда, правда, без тех клокочущих переливов. Я, конечно, спросил его про деда.

— Как, ты ничего не слыхал? — удивился Яшка и посмотрел на меня своими большими круглыми глазами.

— А что? — спросил я.

— Все знают его историю, а где ты был?

— Я был в Москве, — сказал я.

— А, значит, до Москвы не дошло, — протянул Яшка с уважением к самому расстоянию от Абхазии до Москвы: раз уж такая история туда еще не дошла, значит до Москвы ехать и ехать.

Яшка огреб и подмял под себя свежие кусты папоротника, поудобней подложил под голову сумку и рассказал мне последнее приключение своего неугомонного деда. Потом я эту историю слышал еще несколько раз от других, но в первый раз ее услышал от Яшки.

Я еще мысленно любовался последним могучим всплеском фантазии Колчерукого, когда вдруг...

— Жужуна, Жужуна! — закричал он без всякого перехода, даже не приподнявшись.

— Ты чего? — отозвался откуда-то девичий голос.

Я приподнялся и посмотрел по сторонам. За зарослями папоротника виднелась небольшая буковая рощица. В про-

светах между деревьями угадывалась изгородь и за нею кукуруза. Голос шел откуда-то оттуда.

— Письмо, Жужуна, письмо! — снова крикнул Яшка и подмигнул мне.

— Нарочно? — спросил я.

Яшка радостно кивнул головой и стал прислушиваться. Примолкшие было кузнечики снова стали осторожно перетикиваться.

— Абманчи-ик! — наконец раздался голос девушки, и я почувствовал, что манок почтальона уже поднял олененка.

— Быстрее, Жужуна, уеду, Жужуна! — восторженно откликнулся Яшка, пьянея не то от собственного голоса, не то от имени девушки.

Я понял, что мне пора уходить, и стал с ним прощаться. Продолжая прислушиваться, Яшка уговаривал меня остаться на ночь, но я отказался. И потому, что спешил, и потому, что оскорбил бы этим наших, к которым я так и не зашел. Я знал, что если остаться здесь на ночь, никакой охоты не получится, потому что придется еще два дня приходиться в себя.

Выбираясь по тропинке на улицу, я еще раз услышал голос девушки, теперь он мне показался отчетливей.

... — От кого, тогда приду-у! — кричала она.

... — Приходи, тогда скажу, Жужуна, Жужуна! — призывно прозвучало в жарком августовском воздухе в последний раз, и я с какой-то смутной тоской, в просторечии именуемой завистью, выбрался на пустынную проселочную улицу.

По крайней мере, подумал я, все-таки традиции Колчерукого не умирают. Через полчаса я уехал дальше и с тех пор там не бывал. Все-таки я надеюсь как-нибудь выбраться к нашим, хотя бы для того, чтобы узнать, до чего Яшка докричался там со своей Жужуной.

Перескажу последнее приключение Колчерукого так, как оно у меня улеглось в голове. Колчерукий, говорят, благополучно дождался конца войны, дождался сына и прекрасно жил до последнего времени. Но с год назад пришел и ему срок умирать, и уже по-настоящему.

В тот день, говорят, он, как обычно, лежал на веранде своего дома и смотрел во двор, где паслась его лошадь. В это время приехал к нему на лошади Мустафа. Он спе-

шился и взошел на веранду. Ему вынесли стул, и он уселся рядом с Колчеруким. Как обычно, они вспоминали о прошлом. Колчерукий мгновеньями не то впадал в забытьё, не то засыпал, но каждый раз, приходя в себя, он говорил с того места, на котором остановился.

— Так ты в самом деле покидаешь нас? — говорят, спросил Мустафа, зорко вглядываясь в своего друга и соперника.

— В самом деле, — ответил Колчерукий, — теперь мне тамошних лошадей купать в тамошних реках...

— Все там будем, — вежливо вздохнул Мустафа, — да не думал, что ты первый...

— Ты, бывало, и на скачках не думал, что я буду первым, — отчетливо произнес Колчерукий, так, что родственники, дежурившие возле него, все слышали и даже слегка засмеялись, придерживая свой смех ладонями, потому что смех возле умирающего, даже если этот умирающий Колчерукий, не слишком уместен.

Обидно стало Мустафе, да спорить неприлично, потому что человек умирает. Но если умирающий смеется над живущим, это как-то особенно обидно, потому что, раз умирающий над тобой смеется, значит, ты как бы оказался в еще более бедственном или жалком положении, чем он, а уж куда хуже.

Спорить, конечно, неприлично, а рассказать кое-что можно. И он рассказал.

— Раз уж ты уходишь в такую дорогу, я тебе должен кое-что сказать, — промолвил Мустафа, наклоняясь над Колчеруким.

— Если должен, скажи, — ответил Колчерукий, потому что смотрел во двор, где паслась его лошадь. В оставшееся время ему было интересней всего смотреть на свою лошадь.

— Не взыщи, Колчерукий, но тогда это я позвонил в колхоз, что ты умер, — сказал Мустафа, как бы скорбя, что обстоятельства не позволяют и теперь пустить этот ложный слух и что он, Мустафа, жалеет об этом, как истинный друг.

— Как же ты, когда говорили по-русски? — удивился Колчерукий и посмотрел на него. Мустафа русского языка не знал и был, несмотря на свой великий хозяйский ум, до того безграмотный, что вынужден был избрести свой

алфавит или во всяком случае ввести в личное употребление своеобразные иероглифы, при помощи которых он отмечал всех своих должников, а также хозяйственные счета, основанные на сложных, многоступенчатых обменных операциях. Вот почему Колчерукий удивился, что он говорил по телефону, да еще по-русски.

— Через городского племянника, сам я рядом стоял, — объяснил Мустафа.

— Раз тебя вылечили, я решил пошутить да и машину без этого кто бы прислал, — добавил Мустафа, напоминая о трудностях того далекого времени.

Говорят, Колчерукий закрыл глаза и долго молчал. Но потом он медленно открыл их и сказал, не глядя на Мустафу:

— Теперь я вижу, что ты лучший лошажник, чем я.

— Так получается, — скромно признался Мустафа и оглядел тех, кто дежурил возле умирающего.

Но тут близкие не выдержали и стали всхлипывать, потому что Колчерукий первый раз в жизни признал себя побежденным, и это было больше похоже на его смерть, чем сама предстоящая смерть.

Колчерукий заставил их замолкнуть и, кивнув в сторону лошадей, сказал:

— Напоите, лошади пить хотят.

Одна из девушек взяла ведра и пошла за водой. Девушка принесла родниковой воды и поставила ведра посреди двора. Лошадь Колчерукого подошла к ведру и стала пить, а лошадь Мустафы повернула голову и потянула уздечку. Девушка отвязала ее и, держа за уздечку, стояла рядом, пока она пила воду. Лошади, вытянув шеи, тихо пили воду, и Колчерукий с удовольствием следил за ними, и кадык на его горле двигался так, словно он сам пил воду.

— Мустафа, — сказал он наконец, обернувшись к другу, — теперь я признаю, что ты был лучшим лошажником, но ты знаешь, что и я любил лошадей и кое-что в них понимал?

— А как же, кто этого не знает? — великодушно воскликнул Мустафа и оглядел всех, кто был на веранде.

— На днях я умру, — продолжал Колчерукий, — гроб мой будет стоять там, где стоят пустые ведра. После того, как меня оплачут, я прошу тебя, сделай одно...

— Что сделать? — спросил Мустафа и, цыкнув на близких, потому что они снова пытались всплакнуть, наклонился к нему. Было похоже, что Колчерукий передает ему свою последнюю волю.

— Я прошу тебя трижды перепрыгнуть через мой гроб. Перед тем, как закроют крышку, я хочу услышать над собой лошадиный дух. Ты это сделаешь?

— Сделаю, если наши обычаи не видят в этом греха, — обещал Мустафа.

— Думаю, не видят, — сказал Колчерукий, помедлив, и закрыл глаза — то ли уснул, то ли впал в забытие. Мустафа встал и тихо спустился с веранды. Он уехал, раздумывая над последней волей умирающего.

Вечером по этому поводу Мустафа собрал старейшин села и, угостив их, рассказал о просьбе Колчерукого. Старейшины посоветовались между собой и решили:

— Прыгай, если покойник так хочет, потому что ты лучший лошажник.

— Он сам это признал, — вставил Мустафа.

— А греха в этом нет, потому что лошадь мяса не ест, — у нее чистое дыхание, — заключили они.

В эту ночь Колчерукий узнал о решении старейшин и, говорят, остался доволен. А через два дня он умер.

Снова послали горевестников по соседним селам, как когда-то во время войны. Некоторые весть о его смерти встретили с недоверием, а родственник, что приволок когда-то телку, даже сказал, что, мол, не мешало бы его проткнуть хотя бы наконечником посоха, чтобы убедиться, окончательно он умер или опять морочит голову.

— Проткнуть не надо, — терпеливо отвечал горевестник, — потому что через него будет прыгать лошажник Мустафа. Так покойник захотел, когда был жив.

— Ну, тогда можно ехать, — успокоился родственник, — потому что живой Колчерукий не даст через себя прыгать.

На похороны, говорят, собралось народу даже больше, чем в тот раз, когда никто не сомневался, что он умер. Многих привлекла возможность посмотреть на эти скачки через гроб или похороны с препятствием. Все знали о великом соперничестве друзей. Говорили, что Колчерукий, хоть он и мертвый, но дела так не оставит.

Потом некоторые утверждали, что сами видели, как Мустафа тренировался у себя во дворе, прыгая на своей

лошади через корыто, поставленное на стулья. Но Мустафа с яростью, достойной самого Колчерукого, отрицал, что он прыгал через корыто, поставленное на стулья. Он говорил, что лошадь его свободно перемахивает через ворота, так что Колчерукий его не достал бы, даже если б во время прыжка высунул свою знаменитую руку.

И вот на четвертый день после смерти, когда все окончательно попрощались со своим родственником и односельчанином, Мустафа встал у гроба, дожидаясь своего часа, скорбный и вместе с тем нетерпеливый.

Дождавшись, он произнес короткую речь, полную траурного величия. Он изложил героическую жизнь Шаабана Ларба, по прозвищу Колчерукий, от лошади к лошади, вплоть до последней воли. Вкратце для сведения молодежи, как он сказал, Мустафа напомнил подвиг с уводом жеребца, когда Колчерукий не побоялся прыгать с обрыва, мимоходом дав знать, что если б побоялся, было бы еще хуже. Он сказал, что снова напоминает об этом не для того, чтобы упростить подвиг Колчерукого, а для того, чтобы молодежь лишний раз убедилась в преимуществе смелых решений.

И тут, согласно желанию покойника, а также своему желанию, он вновь громогласно обратился к присутствующим старцам и снова спросил, нет ли в прыганье через гроб греха.

— Греха нет, — ответили старцы, — потому что лошадь мяса не ест, у нее чистое дыхание.

После этого Мустафа отошел к коновязи, отвязал свою лошадь, вскочил на нее и, взмахнув камчой, ринулся сквозь коридор толпы к гробу.

Пока он отходил к коновязи, с той стороны гроба убрали все лишнее и отодвинули людей, чтобы лошадь на них не наскочила. Кто-то предложил прикрыть покойника плащ-палаткой, чтобы земля из-под копыт не сыпалась на него. Но один из старцев сказал, что в этом тоже греха нет, потому что покойник и так будет лежать в земле.

И вот, говорят, лошадь Мустафы доскакала до гроба и вдруг остановилась как вкопанная. Мустафа вскрикнул и огрел ее с обеих сторон камчой. Лошадь только крутила головой, скалилась, но прыгать никак не хотела.

Тогда Мустафа повернул ее на месте, галопом проскакал назад, слез, почему-то проверил подпруги и снова, как

ястреб, ринулся на гроб. Но лошадь остановилась, и, сколько ни хлестал ее Мустафа, она так и не прыгнула, хотя и вставала на дыбы.

С минуту в напряженной тишине раздавалось только шелканье камчи и усердное сопенье Мустафы.

И тут, говорят, кто-то из стариков промолвил:

— Сдается мне, что лошадь через покойника не прыгает.

— Ну да, — вспомнил другой старец, — подобно тому, как хорошая собака не укусит хозяина, хорошая лошадь через покойника не прыгнет.

— Слезай, Мустафа, — крикнул кто-то из колхозников, — Колчерукий доказал тебе, что он лучше знает лошадей.

Тут, говорят, Мустафа повернул свою лошадь и, расталкивая толпу, молча выехал со двора. И тогда среди провожающих раздался такой взрыв хохота, который не то что на похоронах, на свадьбе не услышишь.

Хохот был такой, что секретарь сельсовета, услышав его в сельсовете, говорят, выронил печать и воскликнул:

— Клянусь честью, если Колчерукий в последний момент не выскочил из гроба!

Весело хоронили Колчерукого. Его загробная шутка на следующий день стала достоянием чуть ли не всей Абхазии. Вечером Мустафу все же уговорили прийти на поминальный ужин, потому что хотя прыгать через покойника не грех, но таить на покойника обиду все же считается грехом.

Когда умирает старый человек, в наших краях поминки проходят оживленно. Люди пьют вино и рассказывают друг другу веселые истории. Обычай не разрешает только запиваться до непристойности и петь песни. Хотя по ошибке кто-нибудь иногда и затянет застольную, но его останавливают, и он смущенно замолкает.

Когда умирает старый человек, мне кажется, вполне уместны и веселые поминки, и пышный обряд. Человек завершил свой человеческий путь, и, если он умер в старости, дожив, как у нас говорят, до своего срока, значит живым можно праздновать победу человека над судьбой.

А пышный обряд, если его не доводить до глупости, тоже возник не на пустом месте. Он говорит: свершилось нечто громадное — умер человек, и если он был хорошим

человеком, это отметят и запомнят многие. И кто же достоин человеческой памяти, если не Колчерукий, который всю жизнь украшал землю весельем и трудом, а в последние десять лет, можно сказать, добрался и до своей могилы и ее заставил плодоносить, собирая с нее, как говорят, неплохой урожай персиков.

Согласитесь, что далеко не всякому удастся собрать урожай персиков с собственной могилы, хотя многие и пытаются, но для этого им не хватает ни широты, ни отваги Колчерукого.

И да будет пухом ему земля, что, вероятно, вполне возможно, учитывая, что место ему выбрали хорошее, сухое, о чем он сам любил поговорить при жизни.

## БОГАТЫЙ ПОРТНОЙ И ХИРОМАНТ

Богатый Портной, как и положено Богатому Портному, занимал три комнаты в верхнем этаже нашего дома. Раньше, говорят, он жил во дворе в маленькой хибарке вроде той или даже в той, в которой сейчас жил дядя Алихан, продавец восточных сладостей.

Но потом, говорят, дела его пошли в гору, и он, соответственно, как думал я, перебрался на второй этаж.

Сначала в одну комнату, и она нависла над двором как деревянная скала, и тут же можно сказать, он вылутился и предстал перед всеми в своем новом обличье, а именно в обличье Богатого Портного.

Вообще-то звали его Сурен, а Богатым Портным его сначала называли за глаза, но потом видя, что он не обижается, все чаще и чаще стали называть его так и в глаза.

— Какой я богатый, — бывало, говорил он, ласково отмахиваясь от прозвища.

Будь в нашем доме множество этажей, думал иногда я, он так и перебирался бы с одного на другой, так и поднимался бы все выше и выше. Но дом имел всего два этажа, и перебираться Богатому Портному больше было некуда, хотя стремление оставалось. Поэтому он сначала расширил насколько мог эту взлетную площадку, а потом приобрел себе земельный участок и стал строить собственный дом.

Иногда Богатый Портной со всей семьей отправлялся отдыхать на участок. Сборы были шумными и долгими. Несли с собой кастрюли, тарелки, провизию, примус. Маленький, победный, кучерявоголовый, сам он шел всегда впереди со свернутым в трубу ковром на плече.

Вечером возвращались. Богатый Портной усаживался на балконе и начинал хвалить свой участок.

— Один воздух — миллион стоит! — громко сообщал он.

— А что там за воздух? — удивлялся кто-нибудь из соседей, потому что участок этот был расположен в полу-

километре от дома, и где там взяться какому-то особенно-му воздуху, было непонятно.

— Речка журчит, и все время кушать хочется! — сам удивляясь, говорил он.

— Неужели все время?

— Да! — восторженно подтверждал он с балкона. — Только что покушал, опять кушать хочется — такой воздух! По сравнению с ним Кисловодск — тьфу!

При этом Богатый Портной и в самом деле плевал с балкона, на минуту помешкав, чтобы не попасть в прохожего.

На участке у него стояла сосна. Он ее тоже хвалил как особенно красивую. Он и дятла хвалил, который иногда прилетал на эту сосну.

— Опять мой дятел прилетал, — говорил он, — хвост прижмет к дереву и долбит, долбит, так что опилки летят! Тоже кусок хлеба ищет — интересная птица!

Строительство нового дома на участке длилось множество лет и доставляло ему массу хлопот, которые он выдавал за особую форму наслаждения. Так, например, фруктовый сад с мандаринами, грушами, хурмой, заложенный на участке, стал плодоносить гораздо раньше, чем он выстроил дом, потому что рост растений никак не связан с добычей строительных материалов, тем более левых, не говоря уж о найме удальцов-шабашников.

Когда стали плодоносить груши дюшес, ему пришлось купить охотничье ружье и время от времени ходить по ночам сторожить свой участок, потому что груши поворачивали.

Так как ходить туда часто он не мог, ему приходилось, видимо, для острастки тамошних соседей иногда инсценировать удачную оборону фруктовых деревьев от хулиганских набегов. По слухам, эти стычки сопровождались выстрелами, криками и лаем дворовой Белочки, которую он приспособился таскать к себе на участок. Я пытался прятать от него нашу Белочку, но сделать это было трудно, потому что Богатый Портной был настойчив и всемогущ.

— Белочка, купаться, — бывало, говорил я ей тихо, видя, что Богатый Портной собирается на вахту. Купаться Белочка не любила и тут же забивалась в подвал или убежала на улицу. Все равно он обычно ее находил и вылавливал.

Через некоторое время она сама до того возненавидела эти усадебные развлечения, что если кто-нибудь при ней просто так начинал говорить про участок, то она, услышав это слово, забивалась в подвал, и вытащить ее оттуда стоило большого труда.

Иногда, уходя сторожить на свой участок, он в тот же вечер возвращался домой. Посторожит часа два-три, покажется соседям, может быть, пальнет в воздух, а потом тайно уходит домой.

Однажды я видел, как ночью, возвращаясь домой, он перелезает через забор соседнего школьного двора. Тогда мне показалось, что это он делает для сокращения дороги. Но потом я догадался, что этот маневр был направлен и против ребят с улицы, чтобы и они думали, что он остался сторожить свои фрукты.

Днем в послеобеденное время он иногда приезжал с участка на мотоцикле своего кунака, известного в городе автоинспектора. Обычно он сидел в коляске, по пояс погруженный в груши и хурму, как маленький кучерявый бог плодородия.

Подъехав к дому, он кричал кому-нибудь из своих, и ему выносили корзину, после чего он часть плодов вытаскивал из коляски, а часть оставлял.

Автоинспектор в таких случаях сидел прямо за рулем, не оборачиваясь и даже стараясь не шевелиться. Чувствовалось, что автоинспектор не оборачивается и даже не шевелится, чтобы показать хозяину, что он никакого давления на него не оказывает, мол, как хочешь, так и дели. А с другой стороны, он не оборачивается, чтобы для окружающих получилось, что он и не знает, чего это там Богатый Портной возится в коляске, чтобы потом на всякий случай можно было сказать:

— Ты смотри, оказывается, он там груши оставил!

Я знал, что Богатый Портной его нарочно возил на свой участок, чтобы показать тамошним жителям свою близость к органам наведения порядка.

Автоинспектор появлялся в доме Богатого Портного, как правило, после большого дворового скандала, в котором принимала участие семья Богатого Портного. И хотя сам автоинспектор в эти скандалы никогда не вмешивался (чего не было, того не было), все понимали, что это демонстрация силы.

Еще до того, как Богатый Портной стал ходить на участок с охотничьим ружьем и Белкой, он долго искал человека, чтобы нанять его сторожить свой сад. Кстати, все эти его ночные бдения с выдуманными или преувеличенными набегами и стрельбой закончились тем, что его самого прострелил ишиас, явно невыдуманный, хотя, быть может, и преувеличенный. Во всяком случае, в описываемое лето, как и во все последующие годы, он ходил, мужественно прихрамывая, так что со стороны для тех, кто ничего не знал про ишиас, могло показаться, что он бывший участник гражданской войны.

Тогда на участке его стояла времянка, сколоченная на скорую руку, а поздней осенью ночи у нас бывают довольно промозглыми. Так что на следующий год, когда стали созревать фрукты, он купил у одного загулявшего туриста спальный мешок и уже не выходил в осеннюю сырость во время дежурства на участке, а только время от времени, просыпаясь в спальном мешке, высовывался из него, палил куда попало и снова засыпал.

Ребята с нашей улицы, те, что были постарше лет на пять, на шесть, договорились было унести его ночью в этом мешке и забросить на какой-нибудь участок, где собака позлее. Но потом все же не осмелились осуществить свой замысел, потому что было вполне вероятно, что он по дороге проснется и уж, по крайней мере, два выстрела из своей двустволки сделает и в закрытом мешке.

Все знали горячий нрав Богатого Портного. Однажды, разозлившись, он сбросил горшок с геранью на одного пацана, который надерзил ему, уверенный, что, покамест тот слезет со своего балкона, он успеет убежать куда-нибудь. К счастью, горшок с геранью пролетел мимо, но пацан этот здорово испугался.

Этими горшками всех калибров, от маленьких, величиной с кружку, до больших, величиной с бочонок, в которых росли столетники, цвела герань, пламенели канны, был уставлен весь балкон.

Балкон как бы представлял из себя цветущий макет его будущей усадьбы. Здесь он обычно отдыхал, а чаще гладил, громко прыская водой по материалу.

Бывало, наберет в рот воды, а потом почему-то передумает поливать сукно, а то и не передумает поливать, а что-то срочно надо ответить кому-то на улице, так он, что-

бы не пропадала вода, фыркнет ее на цветок и потом уже говорит. А то, бывало, и поливать сукно не передумал и вроде некому срочно отвечать, но так случайно упадет взгляд на цветок, и вдруг Богатый Портной весь подобрался, насторожился, словно село на растение какое-то зловредное насекомое или он почувствовал, что, оказывается, оно умирает от жажды, и вот он быстро наклоняется — и фырк! А потом еще и еще и, уже успокоившись, снова берется за утюг.

Надо сказать, что по мере расцветания участка цветник на балконе приходил постепенно в упадок. Возможно даже, что горшок с геранью, выброшенный на того пацана, был первым еще неосознанным признаком его охлаждения к цветнику. Можно даже сказать, что в состоянии этой горячности проявилось начало его подсознательного охлаждения, хотя тогда еще его участок был далек от расцвета. После этого он еще дважды или трижды выбрасывал горшки с цветами на своих противников, но тогда уже упадок цветника на балконе был более или менее очевиден. Так, воплощение всякого замысла приводит к грустному запустению мечты.

Я замечал, что и теперь он по привычке прыскает иногда на цветник, но где та сосредоточенность, настороженность, вкрадчивость любовной игры? Нет, теперь, заметив что-нибудь неладное в состоянии цветника, он небрежно, мимоходом брызнет изо рта, словно бросит кость опостылевшей собаке.

Семья Богатого Портного состояла из жены, тещи, время от времени навсегда ушедшей из дому к родственникам, но потом неизменно возвращавшейся, и двоих детей — Оника и Розы.

Оник был мальчик наших лет, его Богатый Портной особенно любил и баловал. Бывало, поглаживает на балконе брюки или пиджак заказчика, прыскает изо рта и, поглядывая на улицу, где Оник катается на своем велосипеде, напевает песенку собственного сочинения:

Мой Оник симпатичка... (Брызг!)

Мой Оник моя птичка... (Брызг! Брызг! Брызг!)

Мой Оник, тру-ля-ля...

Так, он с небольшими перерывами мог напевать часами, пока Оник не выходил из себя.

— Ну, хватит, папа, хватит! — кричал Оник, чувствуя, что ребята посмеиваются над ним за эти нежности.

— А что, разве не симпатичка? — спрашивал он и, чмокнув губами, посылал жирный воздушный поцелуй. Оник нажимал на педали.

Однажды Богатый Портной пришел в нашу школу, открыл класс во время урока, просунул туда голову, нашел глазами своего любимчика и, протягивая ему кулек, сказал:

— Оник, горячие пончики...

Класс, конечно, повалился от хохота. Даже учительница не смогла удержаться от смеха. Несколько лет после этого Оника в школе называли Горячий Пончик или просто Пончик.

Роза — девушка лет шестнадцати, в то время очень полная, просто квадратная, вся в маму, хотя отчасти и в папу. Сам Богатый Портной был довольно пухленький, но не толстый, я думаю, его подвижность и нервность не давали ему располнеть.

— Моя Роза — алтынчик (золотце)! — говаривал он с гордостью.

Роза была, как и все очень полные девушки, застенчивой, потому что чувствовала некоторую вину за свою полноту. Позже такие девушки, если им удастся выйти замуж за человека, который как раз эту полноту больше всего в них ценит, еще больше полнеют, одновременно вымещая на мужа за все излишки застенчивости своей юности.

Конечно, так бывает не всегда. Если муж успевает вовремя спохватиться, то он, поддерживая в своей толстушке юношеское чувство вины, может сохранить в ее характере эту приятную застенчивость и даже развить ее до чувства постоянной благодарности.

Впрочем, до всего этого тогда было далеко, и Роза целыми днями играла на фортепиано. Стрекотание швейной машинки почти полностью заглушалось водопадами звуков, льющихся из этой музыкальной прорвы.

— Играй, алтынчик, играй! — слышался ласковый голос отца, если она вдруг замолкала. И Роза снова играла. Поговаривали, что он ее нарочно заставляет играть, чтобы заглушить свою швейную машинку. Нашего двора и улицы он, конечно, не боялся, но, видимо, все же считал приличней, если из квартиры целыми днями доносится до улицы звуки фортепиано, а не стрекотанье швейной машинки.

Однажды, воспользовавшись фальшивой рекомендацией, в дом Богатого Портного проник фининспектор. Он заказал себе костюм, дал Богатому Портному снять с себя мерку, после чего уселся за стол и стал писать акт.

Богатый Портной стал ему доказывать, что все это шутка, что он его узнал, как только тот появился на углу нашей улицы. Но фининспектор ему не поверил, и тогда Богатый Портной отказался подписать акт.

— Не имеет значения, — сказал фининспектор и, положив акт в карман, стал уходить.

— Хорошо, пока не показывай, — сказал Богатый Портной и, следя с балкона за уходящим фининспектором, добавил: — Вот человек, шуток не понимает.

Минут через десять он сам ушел из дому и в тот же день приехал домой на мотоцикле автоинспектора. Потом был долгий обед, и Богатый Портной провожал своего кунака до мотоцикла. Жена, Роза и Оник стояли на балконе.

— Помни, — сказал Богатый Портной, усадив его на мотоцикл и показывая рукой на балкон, — моя семья смотрит на тебя!

Автоинспектор уже включил мотор и вместе с мотоциклом как бы дрожал от нетерпенья.

— Помни! — повторил Богатый Портной еще более важно и поднял палец к небу. — Наверху — бог, внизу — ты.

— Знаю, — снова сказал автоинспектор и поехал. Богатый Портной еще немного постоял, глядя ему вслед. Жена и Роза махали рукой. Богатый Портной вошел в дом, жена и Роза перестали махать и тихо покинули балкон.

Три дня после этого Богатый Портной не показывался на балконе, а Онику не давали кататься на велосипеде. Роза играла какую-то грустную музыку, или, может быть, нам казалось, что музыка грустная, потому что деятельный дом Богатого Портного затих.

На третий день вечером Богатый Портной распахнул двери балкона и сказал на всю улицу:

— Рука руку моет, а свинья остается свиньей.

На следующий день уже весело стрекотала машинка, а Оник выволок на улицу велосипед.

Оказывается, автоинспектор узнал, что жена фининспектора, так удачно накрывшего Богатого Портного, рабо-

тает в ларьке. Это и решило дело. Он уговорил своего друга, инспектора горсовета, поймать ее с поличным. Тот согласился.

В наших ларьках в те времена, как, впрочем, и в последующие, продавали водку в разлив. Это было выгодно и тем, кто ее покупал, и тем, кто ее продавал, и тем, кто проверял продающих, хотя, конечно, и не полагалось по закону.

И вот инспектор горсовета подошел к ларьку с одним человеком. Вернее, сам он стал сбоку у ларька, так, чтобы его не видно было, а того, своего дружка, подпустил к стойке.

Надо сказать, что продавщица была предупреждена, что из горсовета может кое-кто нагрянуть в этот день. У них там тоже свои люди есть. Поэтому она была очень осмотрительна в этот день и, прежде чем наливать водку в стакан, основательно высывалась из ларька и смотрела направо и налево. После этого она наливала водку в стакан, закрашивала ее сиропом и подавала клиенту. Так что со стороны получалось, что человек пьет воду с сиропом.

И вот, значит, этот человек подходит и просит сто пятьдесят граммов.

Продавщица что-то заподозрила и сказала, что она водку в разлив вообще не продает.

— Знаю, — сказал этот человек, — но у меня так живот болит, прямо сил нет.

Дрогнуло сердце продавщицы, да и до закрытия ларька оставалось всего полчаса, и она уступила. Высунулась из окошка, посмотрела по сторонам и налила сто пятьдесят граммов. Конечно, знай она, кто там притаился сбоку, может, прежде чем наливать, выскочила бы из ларька да обжала бы его два-три раза, но тут сплеховала.

И вот она налила водку в стакан и, как водится, только хотела закрасить свой грех сиропом, как он потянул у нее стакан. Тут продавщица опять что-то заподозрила и хотела выхватить у него стакан с тем, чтобы вылить содержимое в мойку и в дальнейшем все отрицать. Но парень этот цепился в стакан и отошел от прилавка, чтобы не расплескать вещественное доказательство.

Тут вышел на свет божий добрый молодец инспектор и, со смехом войдя в ларек, стал составлять акт, который

продавщица, конечно, не подписала, ссылаясь на свое милосердие.

— Не имеет значения, — сказал инспектор и унес акт.

Дальше все было просто. Автоинспектор свел интересы обеих сторон к одному банкетному столу в приморском ресторане. Стороны, сидя друг против друга, при свидетелях обменялись актами и, изорвав их в клочья, выбросили в море.

После этого, говорят, порядочно было выпито, потому что товарищ инспектора горсовета оказался очень веселым парнем. Он никому не давал передышки и то и дело хватался за живот, крича:

— Ой, ой, живот болит, налейте!

Тут, говорят, все падали от смеха, кроме фининспектора, которому все-таки эта шутка продолжала не нравиться.

Надо сказать, что после этой истории Богатый Портной с новыми клиентами стал гораздо осторожнее. Прежде чем впустить неизвестного в дом, он довольно основательно изучал его, разговаривая с балкона.

Помню, одного хриплого толстяка он прямо-таки измучил. Тот стоял, придерживая одной рукой перевязанный шпагатом газетный сверток, в другой руке висела сетка с мушмулой. Богатый Портной, склонившись над перилами балкона, внимательно изучал его.

— Я от Гагика Марояна, — застенчиво косясь на сверток, сказал толстяк, — один костюмчик хочу.

— Нет, что ты, дорогой, — ответил он ему, расплывшись, — давно бросил. Пожалста, в мастерскую.

— Один летний, легкий костюмчик, — прохрипел толстяк.

— Что ты, дорогой, — повторяет он, стараясь, определить, хитрит толстяк или в самом деле честный клиент. Он рыскает по нему выпуклыми глазками, не зная, за что зацепиться, и неожиданно спрашивает:

— Мушмула с участка?

— С базара, — отвечает толстяк, обливаясь потом. — Гагик сказал, пойди к Сурену...

— У меня тоже участок, — говорит Богатый Портной, — восемь японских корней мушмулы посадил, но пока не родит...

— Один аккуратный костюмчик...

— Что ты, дорогой! — восклицает Богатый Портной, как бы удивляясь тому, что люди еще помнят дела такой давности. — А какой Гагик тебя послал?

— Гагик Мароян...

— Ты смотри! — вдруг удивляется Богатый Портной, что этот человек знает именно Гагика Марояна, хотя тот с этого и начал. — Откуда ты его знаешь?

— С братом на фермзаводе работаю, — хрипит толстяк.

— Ты смотри, правильно! — еще больше удивляется он. — Легкие тоже слабые имеет?

— Да, имеет, — кивает толстяк, обливаясь потом, — как брата, прошу...

— Нет, что ты! — разводит руками Богатый Портной и вдруг добавляет: — А парторгом кто у вас?

— Миша Габуния, — хрипит толстяк, — майский костюмчик...

— Ты смотри, тоже правильно! — еще больше удивляется Богатый Портной. — Молодец Миша! Растет. Время такое...

— Один летний, легкий... — тянет хрипло толстяк.

— Нет, шить не шью! — наконец сдается Богатый Портной. — Просто так заходи, поговорим...

Толстяк заходит.

Вообще Богатый Портной не любил, когда на нашей улице появлялся какой-нибудь незнакомый человек. Бывало, смотрит на него сверху, потом вслед, поставив руку козырьком от солнца, потом пожимает плечами, в недоумении бормочет:

— Третий раз сегодня проходит... Другой улицы нет, что ли...

\* \* \*

Но я чуть не забыл рассказать, как Богатый Портной нанимал сторожа на участок еще до того, как сам взялся за дело. То ли потому что он работу предлагал сезонную, всего два-три месяца, то ли еще почему, но так он и не смог нанять себе настоящего сторожа. Он даже объявления вывесил во многих местах.

Я сам видел одно такое объявление на электрическом столбе прямо напротив выхода из стадиона. Словно он на-

деялся, что после футбольных состязаний нашему болельщику ничего не остается, как прочесть его призыв и пойти в ночные сторожа, тем более, что наше местное «Динамо» все время проигрывало, хотя и подбрасывало всесоюзному футболу время от времени (а может, поэтому и проигрывало?) довольно значительных звезд. Достаточно сказать, что знаменитый нападающий московского «Спартак» Никита Симонян наш парень.

Объявление это гласило: «Ищу хорошего русского старика для сторожения фрукт. Если будет плотник или каменщик, еще лучше. Вторая Подгорная, дом 37, балкон на улицу, кричи: Сурен».

То ли хорошие русские старики были приставлены к другим фруктовым садам, то ли еще что, но однажды к дому Богатого Портного подъехал на своем ослике известный в городе бродячий хиромант, человек с огненным взором и огненной бородой. Обычно он ездил на своем ослике по дворам и гадал.

— Последний русский дворянин и первый советский хиромант! — кричал он зычным голосом, остановившись посреди двора, и подманивал к себе женщин. Женщины подходили и, украдкой утерев ладонь о фартук или халат, словно надеялись этим улучшить показания судьбы, протягивали руку. Хиромант гадал, не слезая с ослика. За гадание брал деньгами, продуктами или детской одеждой для своего многочисленного потомства. Иногда он появлялся возле нашей школы, где, так же не слезая с ослика, за небольшую плату решал математические задачи для старшеклассников. В городе его считали не то ученым, не то полоумным, а точнее — полоумным, от того что ученый.

Мой сумасшедший дядюшка, увидев его на ослике, приходил в радостное состояние, и, показывая на него пальцем, говорил:

— Мулла едет, мулла!

Однажды он заехал к нам во двор. Там у него произошло небольшое столкновение с Богатым Портным, которое, по мнению некоторых людей, повлияло на их будущие отношения.

Я это хорошо помню, потому что в это время, сидя на корточках посреди двора, мыл в лохани Белку.

Главное, что Богатый Портной в поисках сквозняка на этот раз спустился во двор и пил кофе по-турецки, который сюда ему принесла жена, хотя для обоих было бы

проще, если бы он, выпив кофе, спустился вниз. Но он всегда так делал, если уж спускался во двор. Бывало, только спустится, а там считай до десяти, и глядишь, его жена появится с чашечкой кофе в одной руке, а то и со стульчиком в другой. Правда, стульчик иногда он выносил и сам, но кофе — никогда.

И как это она точно попевала за ним, было трудно понять. Я даже подозревал, что они все это разыгрывали заранее, потому что Богатый Портной ко всем своим достоинствам еще и считал себя хозяином прекрасной семьи и свои редкие выходы во двор отчасти превращал в наглядные уроки семейной идиллии. Вот так он сидел и пил кофе, когда в калитку въехал на своем ослике огненно-бородый хиромант.

— Воздух — твое гаданье, — сказал Богатый Портной, дав ему проехать возле себя, — ни один человек не верит...

— Последний русский дворянин и первый советский хиромант! — воскликнул тот, не обращая внимания на Богатого Портного. Остановившись посреди двора, он бросал огненные взоры в окна и приоткрытые двери квартир.

Несмотря на заверение Богатого Портного, женщины окружили хироманта, и одна из них даже вынесла ослику арбузные корки. Я заметил по лицу Богатого Портного, что он уязвлен вниманием женщин к гаданию.

Первой протянула руку хироманту жена Алихана — Даша. Сам Алихан сидел у порожка своей хибарки и парил в теплой воде мозоли.

— Венерин бугор! — воскликнул хиромант, взглянув на Дашину ладонь. Женщины вздрогнули.

— Воздух! — несколько вяло откликнулся Богатый Портной.

Ослик хрустел арбузными корками, хиромант гадал Даше, иногда бросая взоры и на других женщин, после чего те, поживаясь, запахивались в свои халаты.

Алихан парил в тазике мозоли и, приподняв круглые брови над круглыми глазами, доброжелательно прислушивался. Видно, гадание ничего плохого не предвещало.

Алихан очень любил свою вечно растрепанную Дашу. Из-за ее бурного прошлого и неряшливого настоящего во дворе Дашу считали плохой женой. Алихан хотел считать, что у него жена такая же, как у других, но двор и в особенности Богатый Портной время от времени напоминали

ему, что жена его не совсем такая же, как у других, а, пожалуй, похуже.

Поэтому он и сейчас с подчеркнутым спокойствием прислушивался к гаданию Даши и, поглядывая на Богатого Портного, как бы предлагал и ему проникнуться этим спокойствием. Но Богатый Портной этим спокойствием не проникался.

— Разве это дело, — сказал Богатый Портной, прислушиваясь к чуждому бормотанию хироманта, — в наше время только ремесло дает твердый кусок хлеба. Возьмем меня...

Он отхлебнул кофе и посмотрел на Алихана.

— Пусть гадают, — ответил Алихан доброжелательно, — каждый человек хочет иметь свое маленькое дело.

Богатый Портной еще раз отхлебнул кофе, поставил чашечку на землю возле себя и решительно поднял голову.

— Алихан, ты не мужчина, — махнул рукой Богатый Портной.

— Почему не мужчина? — встрепенулся Алихан.

— Я бы никогда своей жене не разрешил эти глупости, — кивнул Богатый Портной на хироманта и, приподняв чашечку, снова отхлебнул кофе.

— О аллах, — сказал Алихан, уклоняясь от спора, — если это дает спокойствие, рахат, пусть гадают...

Алихан слегка прикрыл веки, прислушиваясь не то к гаданию, не то к действию теплой воды на ступни своих ног, изношенных и разбитых поисками утерянного после нэпа коммерческого счастья.

Видно, уклончивый ответ Алихана, а главное, внимание женщин двора к тому, что говорит хиромант, продолжало раздражать Богатого Портного. Он привык, чтобы слушали его, а тут все облепили хироманта с его осликом, а на него никто не обращал внимания.

Он критически прислушивался к тому, что говорит хиромант, но все же никак не мог к нему подступить. Помогла его собственная жена. Она подошла к нему за пустой чашечкой, и он, молча, кивком головы потребовал еще один кофе.

— Как скажешь, Суренчик, — ответила жена, хотя он ничего не сказал. Взяв чашку, она пошла к себе. Богатый Портной посмотрел ей вслед, потом перевел взгляд на гадающую простоволосую Дашу, потом на Алихана и удру-

ченно покачал головой. На это Алихан немедленно обратил внимание и выразил недоумение, приподняв круглые брови над круглыми глазами.

— И у тебя жена русская, и у меня то же самое, — задумчиво сказал Богатый Портной, как бы удивляясь безумной игре природы.

— Ну и что? — промолвил Алихан, нарочно не замечая намеков на безумную игру природы.

— У меня жена все равно как армянка, — сказал Богатый Портной не слишком громко, но с чувством, — все понимает, только не говорит...

— У каждой женщины свой марафет, — ответил Алихан примирительно и снова прикрыл глаза. Видно, он сначала ожидал более неприятных разоблачений, а в том, что его жена не похожа на армянку, он не находил ничего обидного.

Когда хиромант, закончив гаданье, стал выезжать со двора, Богатый Портной окликнул его. Хиромант остановил ослика и, приподняв голову, как бы нацелился на него кончиком огненной бороды.

— Теперь ты мне скажи, — спросил Богатый Портной громко, — ишак в городской черте разрешается или не разрешается?

— Тебе лучше знать, антихрист! — воскликнул хиромант и тронул ослика.

Я в это время уже сидел на камне и держал Белку на коленях, обернув ее чистой тряпкой, ждал, когда она высохнет.

Богатый Портной растерялся не столько от самого оскорбления, сколько от неожиданного и непонятного слова «антихрист».

— Хахам! — все-таки успел он крикнуть ему вслед. Хиромант не обернулся, так что было непонятно, услышал он или нет.

Хахам жил в самом конце нашей улицы и занимался тем, что резал по праздникам гусей шумным грузинским евреям, по сравнению с которыми, как говорят те, что их сравнивали, одесские евреи кажутся глухонемыми. Кроме широкой черной бороды, к тому же, как утверждали знатоки, крашеной, но не потому, что она была рыжая, а потому что седая, он никакого сходства с хиромантом не имел.

— Хахам тоже имеет свою коммерцию, — сквозь сладостный стон напомнил Алихан. Сейчас, положив одну ногу в закатанной штанине на колено другой, он особой ложечкой расчесывал распаренную пятку. Занятие это всегда приводило его в тихое неистовство.

— Уф-уф-уф-уф, — постанывал Алихан, доходя до какого-то заветного местечка, — в каждой пятке у него было заветное местечко, — он замедлял движение ложки, наслаждаясь ближайшими окрестностями его, как бы мечтая до него дойти и в то же время пугаясь чрезмерной остроты наслаждения, которая его ожидает.

Богатый Портной некоторое время следил за Алиханом, слегка заражаясь его состоянием. В то же время на лице его было написано брезгливое сомнение в том, что такое никчемное занятие может доставлять удовольствие или приносить пользу.

— Не притворяйся, что так приятно, — сказал Богатый Портной, — все равно не верю...

— Уй-уй-уй! — застонал Алихан особенно пронзительно, поймав это заветное местечко и быстро двигая ложкой, как при взбалтывании гоголь-моголя.

— Холера тебе в пятку, — в тон ему ответила Даша, бросая на сковородку шипящие куски мяса. Она стояла над своим мангалом.

— Не люблю, когда притворяешься, Алихан! — с жаром воскликнул Богатый Портной, как бы еще больше заражаясь его состоянием и еще решительней его отрицая. — Никакого удовольствия не может быть...

Алихан, удивленно приподняв брови, как-то издали, сквозь райскую пленку наслаждения, немо глядел на Богатого Портного. Наконец, движения руки его замедлились. Он опять перешел к окрестности заветного местечка.

— Ну ладно, — сказал Богатый Портной и сделал рукой успокаивающий жест, — ну, ла, ла...

Богатый Портной сделал вид, что Алихан остановился под его командой, хотя ясно было, что Алихан остановился сам по себе.

— Чем фантазировать удовольствие, — сказал он, уже взяв в руки скамечку и уходя, — лучше бы посторожил мой сад...

— Никогда! — просветленно воскликнул Алихан. — Я коммерсантом родился и коммерсантом умру.

— Подумай, пока не поздно, — проговорил Богатый Портной, подымаясь по лестнице.

Закончив свою мучительно-сладкую операцию с ногами, Алихан надел тапки, слил воду из тазика, тщательно промыл под краном свою ложку, спрятал ее и сел на свой стул. Вид у него теперь был ублаженный и особенно благожелательный.

— Дядя Алихан, — спросил я, — что такое антихрист?

— Шайтан, — просто и ясно ответил Алихан, но потом, решив пояснить, все запутал: — «Шайтан» говорят по-нашему, по-мусульмански, а по-гяурски говорят «антихрист». А так как сами «гяуры» по-нашему тоже «шайтаны», то получается, что «антихрист» это — «шайтанский шайтан»! — Ясный взор Алихана выражал готовность ответить на любые вопросы.

— Алихан, ужинать! — раздался голос его шайтанской жены, и Алихан, подхватив стульчик, поспешно вошел в свою комнату.

\* \* \*

Тем же летом на объявление о найме сторожа откликнулся хиромант. Он подъехал к балкону Богатого Портного и позвал его.

Тот вышел на балкон, хмуро посмотрел вниз и сказал:

— Воздух — твое гаданье!

— Я хочу сторожить твое имя! — закричал хиромант, дико хохоча и вкладывая в свои слова сатанинскую иронию, о которой ни мы, ни Богатый Портной не догадывались.

Нет, не такого человека ожидал Богатый Портной, но, видно, делать было нечего, никто не приходил наниматься.

— Объявление читал или кто-то сказал? — спросил он, хмуро выслушав его тираду.

— Весь город об этом говорит! — радостно закричал хиромант и всплеснул руками.

— Ляй-ляй-конференцию хватит, — мрачно прервал он его, — ишака привяжи, а сам подымись.

Хиромант так и сделал, и они обо всем договорились. Условия договора, конечно, не разглашались, но кое-что все-таки просочилось. Так, стало известно, что хироманту давалось право использовать по своему усмотрению падающие и скосить всю траву на участке для прокормления ослика.

Примерно через месяц они в пух и прах разругались, и Богатый Портной изгнал его со своего участка. Тогда-то и выяснились некоторые условия договора.

Хиромант жил на горе, недалеко от участка Богатого Портного, можно сказать, прямо над ним. На этой горе были две сталактитовые пещеры. Так вот, одну из них он оборудовал под жилье и жил в ней вместе с осликом и всем своим многочисленным выводком.

Оказывается, Богатый Портной проследил за ним и обнаружил, что тот под видом паданцев или вместе с паданцами тащит к себе в пещеру его груши и яблоки, из которых он гонит самогон. Гнать самогон в наших краях разрешается, но, разумеется, из собственных фруктов. Выяснилось это следующим образом.

Оказывается, жена Богатого Портного встретила на базаре жену хироманта. Та продавала самогон и при виде жены Богатого Портного сильно смутилась. Видя такую стыдливость жены хироманта, жена Богатого Портного подошла к ней и потребовала объяснения, хотя до этого и не собиралась подходить.

Испуганная жена хироманта во всем созналась. Она умоляла жену Богатого Портного никому об этом не говорить, потому что самогон она продает втайне от мужа из его зимних запасов. Так что, говорила она, если до него дойдут слухи о том, что она продавала самогон, он ее убьет или, что еще хуже, прогонит вместе с детьми.

Ну, жена Богатого Портного, конечно, не удержалась и все рассказала мужу, больше всего удивленная такому плохому отношению к собственным детям со стороны ученых людей. Богатый Портной проследил за ним и однажды поймал его на тропинке, когда тот подымался к своей пещере, деловито погоняя ослика, нагруженного мешками с фруктами. Мешки были вскрыты, и тут же разразился неслыханный скандал, тем более что хиромант успел скопировать и убрать с участка всю траву.

Недели через две он снова появился на нашей улице. Несмотря на летний день, правда пасмурный, хиромант был в пальто.

— Чатлах! — крикнул Богатый Портной с балкона, увидев его. Крикнул он это не слишком воинственно, так что, промолчи хиромант, может быть, все обошлось бы. Но хиромант молчать не стал.

— Ищу хорошего русского старика! — крикнул он в ответ и стал оглядывать улицу, словно удивляясь, куда он запропастился, этот хороший русский старик, словно только что он здесь был, а теперь куда-то делся.

Тут Богатый Портной от возмущения потерял дар речи и, схватив горшок со столетником, бросил его вниз. Горшок шлепнулся рядом с осликом и разбился вдребезги. Хиромант даже не дрогнул. Ослик его дернулся было, но потом потянулся мохнатой мордой и понюхал столетник, с комом земли выпавший из горшка.

Как только ослик двинулся дальше, Алихан, сидевший тут же на каменных порожках у входа в дом Богатого Портного, подошел к разбитому горшку, приподнял стельку столетника и, стряхнув с него землю, унес домой.

Кстати, сразу же, как только полетел горшок, Богатый Портной приобрел дар речи, словно тот стоял у него поперек горла, словно он выкашлял его, а не швырнул руками.

— Аферист! — кричал он, свешиваясь с балкона и передвигаясь, чтобы сопровождать ход ослика по улице. — Ты в пещере живешь, ты шакалка!

Хиромант невозмутимо продолжал ехать.

— Нищий, нищий! — вдруг с отчаянной радостью закричал Богатый Портной, словно нашел наконец точное слово. И в самом деле, видно, попал в точку. Хиромант снова остановил ослика.

— Я еще хожу в шелках! — крикнул он, оборачиваясь, и распахнул, почти вывернул пальто, так что чуть не выпала из внутреннего кармана слегка отпитая бутылка с вином. Сверкнула золотистая подкладка, и в самом деле шелковая.

«Ах, вот для чего пальто!», — подумал я тогда, успев заметить, что вся она была в мелких-мелких трещинах.

Богатый Портной, видно, не ожидал такой подкладки. Во всяком случае, он на мгновение помешкал, оглядывая ее, но в следующий миг взвился, сердясь на себя за это унижительное внимание.

— Барахло — твоя подкладка! — крикнул он. — Все знают, что я шил для наркома и буду шить...

Но ослик уже тронулся. Тут Богатый Портной быстро вошел в комнату, чтобы всем было ясно, что это он первым закончил спор.

— Последний русский дворянин и первый советский хиромант! — уже издали раздался голос хироманта. Услышав его, Богатый Портной почему-то снова выскочил на балкон.

— Воздухтрест! — проговорил он, больше обращаясь к улице, чем к самому хироманту. — Все равно никто не верит...

Про этого наркома Богатый Портной довольно часто вспоминал, хотя на нашей улице его никто не видел. Правда, несколько раз за Богатым Портным заезжала легковая машина, но принадлежала ли она наркому, трудно сказать.

— Белый телефон стоит, — рассказывал он про квартиру наркома, — куда хочешь соединяет! Люди — живут.

\* \* \*

Сейчас я расскажу о великом споре между Алиханом и Богатым Портным. Но прежде чем излагать суть дела, я должен дать вам ясное представление о расстановке сил, о стратегических выгодах и слабостях той или другой стороны, чтобы драма идей, заключенная под внешне незначительным поводом спора, раскрылась во всем своем тайном величии.

Хибарка Алихана, как это легко догадаться, никакого балкона не имела, потому что стояла прямо на земле. Поэтому после работы он иногда отдыхал во дворе, но чаще всего он отдыхал на улице, на каменных ступеньках у входа в парадную дверь Богатого Портного. Тот, сидя на балконе, переговаривался с Алиханом, а чаще из-за своего полемического характера спорил с ним. Иногда Алихан поднимался к нему на балкон поиграть в нарды или попить кофе, но Богатый Портной вниз к нему никогда не спускался.

Как видно из рассказанного, Богатый Портной был человеком нервным и самолюбивым, тогда как Алихан (бывший владелец кофейни-кондитерской), хоть и продолжал именовать себя коммерсантом, как человек давно все потерявший, был спокойным и ровным. Единственное, в чем он проявлял упорство, — это постоянное отстаивание звания коммерсанта.

Когда разновидность восточных сладостей в его передвижном лотке сократилась до козинак, он не впал в уныние, а стал заполнять свой полупустой лоток жареными каштанами.

— Алихан, — говорил ему Богатый Портной, — изучи ремесло, а то скоро семечки будешь продавать.

— Семечки — никогда! — твердо отвечал Алихан, как бы давая знать, что продажа жареных каштанов входит в шкалу продуктов коммерческой деятельности, хотя и не занимает в ней высокого места, тогда как продажа семечек — это распад, разложение, полная сдача позиций.

Таким образом, Алихан в спорах с Богатым Портным имел свои сильные стороны и твердые убеждения. Но и Богатый Портной, возвышаясь над ним на балконе и охватывая голосом большее пространство, как бы в силу самого положения вещей имел свои преимущества.

Получалось, что он отчасти обращается к соседям, которые, выглядывая из окон ближайших домов и балконов, кивали ему, особенно в жару, в знак согласия. Кивать было удобно, потому что большинство этих кивков сидящий внизу Алихан не замечал. Так что они и его не обижали.

Но и Алихан, опять же в силу самого положения вещей, сидевший на низком крыльце у входа в дом Богатого Портного, был до некоторой степени неуязвим, то есть чувствовалось, что скинуть-то его неоткуда, что он и так до того приземлен, что уже почти сидит на земле. А положение человека, сидящего на земле, как бы мы сказали теперь, получив высшее образование, при многих неудобствах обладает диалектической прочностью — что-что, а шлепнуться на землю ему не страшно.

Теперь переходжу к сути главного спора Алихана с Богатым Портным.

Метрах в двадцати от нашего дома была речушка или канава, как ее достаточно справедливо тогда называли. Под каменным мостом она пересекала улицу. У самого моста с той стороны улицы был очень крутой спуск, переходящий в тропинку, которая подымалась вдоль русла вверх по течению. Обычно воды в этой речушке было так мало, что редкая птица решалась ее перелететь, проще было перейти ее вброд, что и делали чумазые городские куры.

Только изредка, когда в горах шли грозовые ливни, она вздувалась и на несколько часов превращалась в могучий горный поток, а потом снова мелела.

С некоторых пор на нашей улице стал появляться странный велосипедист. Странность его уже заключалась в том, что раньше он никогда здесь не появлялся, а теперь вдруг стал появляться. Жители нашей улицы едва свык-

лись с этой его странностью, как заметили за ним еще большую странность. Он доезжал до самого обрывистого спуска у моста и только тогда (ни шагом раньше) тормозил, слезал с велосипеда, приподымал его и, быстро спустившись в канаву, исчезал на тропе.

Можно было предположить, что живет он где-то там повыше, над речкой, но почему он раньше здесь не появлялся, а теперь вдруг стал появляться, было непонятно. А главное — это его упрямство, с каким он доезжал до самого края канавы, так что переднее колесо даже слегка высовывалось над обрывом, и только после этого тормозил.

Сначала мы все решили, что это он так делает для форсу, но потом заметили, что он никакого внимания на улице не обращает, что было почему-то неприятно. Выходило, что все это он делает и не для форсу. Тогда для чего? Этого никто не понимал, и Богатый Портной начал раздражаться. Несколько дней он, молча, присматривался к нему, а потом не выдержал.

— Интересно, — сказал он однажды с балкона, обращаясь к Алихану, который сидел внизу, — когда он сломает шею, на этой неделе или на следующей?

— Никогда, — ответил Алихан, перебирая четки.

— Откуда знаешь? — с брезгливым вызовом спросил Богатый Портной и высунулся над балконом.

— Так думаю, — миролюбиво ответил Алихан.

— То, что ты думаешь, я давно забыл, — сказал Богатый Портной, — но я буду последним нищим, если он не сломает себе шею или ногу.

— Ничего не сломает, — бодро ответил Алихан и, приподняв свои круглые брови над круглыми глазами, посмотрел вверх, — он свое дело знает.

— Посмотрим, — сказал Богатый Портной с угрозой и, отложив шитье, добавил: — А пока подымись, я тебе один «Марс» поставлю...

— «Марс» — это еще неизвестно, — сказал Алихан, вставая, — но этот человек свое дело знает.

Дни шли, а велосипедист продолжал приезжать в своей кепке, низко надвинутой на глаза, в сатиновой блузе с закатанными рукавами, в замызганных рабочих брюках, стянутых у щиколоток зажимами, и, конечно, каждый раз останавливался над самым обрывом, и ни шагом раньше. При этом он ни малейшего внимания не обращал на жи-

телей нашей улицы, в том числе и на Богатого Портного. Я не вполне исключаю мысль, что он вообще не знал о его существовании.

— Так и будет останавливаться со своим дряхлым велосипедом, — сказал однажды Богатый Портной, тоскливо проследив за его благополучным спуском в канаву.

— Так и будет, — бодро отвечал снизу Алихан, — человек свое дело знает.

— Ничего, Алихан, — покачал головой Богатый Портной, — про Лоткина ты то же самое говорил.

— Лоткин тоже свое дело знал, — ответил Алихан и, раскрыв рот, показал два ряда металлических зубов, которые мы почему-то тогда считали серебряными, — как мельница работают.

— А Лоткин где? — ехидно спросил Богатый Портной.

— Лоткин через свое женское горе пострадал, — отвечал Алихан, слегка раздражаясь, — а при чем здесь этот человек?

— Ничего, — пригрозил Богатый Портной, — живы будем, посмотрим.

Несколько лет тому назад Лоткин поселился рядом с нашим домом. На дверях своей квартиры он повесил железную табличку с надписью: «Зубной техник Д. Д. Лоткин».

Лоткина у нас считали немножко малахольным, потому что он ходил в шляпе и макинтоше — форма одежды, не принятая на нашей улице тогда, а, главное, все время улыбался неизвестно чему.

Бывало, розовый, в шляпе и в распахнутом макинтоше идет себе по улице с немного запрокинутой и одновременно доброжелательно склоненной набок головой и улыбается в том смысле, что все ему здесь приятно.

Особенно он расцветал, если встречал на пути какую-нибудь маленькую девочку. А таких девочек на нашей улице было полным-полно. Бывало, присядет на корточки перед такой девочкой, почмокает губами и протянет конфетку.

— Этот человек плохо кончит, Алихан, — говаривал Богатый Портной, проследив за ним, пока тот входил в дом или выходил из дому.

— Почему? — спрашивал Алихан, подняв голову.

— Есть в нем не то, — уверенно говорил Богатый Портной.

— Докажи! — отзывался Алихан.

— Если человек все время улыбается, — пояснял Богатый Портной, — значит, человек хитрит.

Лоткин жил вдвоем с женой, и когда, бывало, выходил с ней на улицу, все смотрели им вслед. Жена его высокая, выше Лоткина, тонкая женщина, говорили — красавица, проходя, обычно опускала голову, углы губ ее были слегка приподняты, словно она едва сдерживала усмешку, как бы стыдясь за своего Лоткина. А он знай себе идет, размахивая руками и ничего не понимая, улыбается направо и налево, здороваётся, приподымая шляпу, и в то же время рыскает глазами, нет ли где поблизости сопливой девчонки в кудряшках, главное, была бы поменьше, умела бы подымать и опускать глаза да еще протягивать руку за конфеткой.

— Ах, ты моя куколка, золотая...

Однажды мы пошли купаться на море в такой компании — я со своим отцом, Оник со своим Богатым Портным и Лоткин с женой. Помню, всю дорогу Богатый Портной как-то подшучивал над Лоткиным, делая вид, что он о нем знает что-то нехорошее, а что именно, было неясно. Мне кажется, он завидовал Лоткину, что у него такая красивая жена. Лоткин почему-то на эти насмешливые намеки Богатого Портного не отвечал, а только сопел и все улыбался, прикрывшись от солнца свернутой газетой. На этот раз он был без шляпы.

Вблизи улыбка его показалась мне какой-то напряженной. Было неприятно, что жена его все так же опускала голову, чуть улыбаясь краями губ. Чувствовалось, что она поощряет Богатого Портного, во всяком случае, на его стороне. Тогда я не особенно прислушивался к тому, что они говорили, потому что меня самого угнетало тревожное предчувствие, что отец мой окажется в кальсонах.

Так оно и оказалось. Отец разделся в сторонке и, закатав кальсоны, вошел в море. Отец мой прекрасно плавал, и в воде было, конечно, незаметно, что он в кальсонах, но рано или поздно надо было вылезать из воды, и это растравляло мое сыновнее самолюбие.

Богатый Портной в трусах с голубыми кантами — мы их называли динамовскими — плескался у самого берега, как младенец. Он не умел плавать, но так как он сам несколько не стыдился этого, получалось, что он просто не

хочет идти в море. Я заметил, что Лоткин в воде пытался заигрывать с женой, но она в море относилась к нему еще хуже, чем на суше.

Однажды рано утром я проснулся от тревожного шума, идущего с улицы.

— Лоткин жену зарезал, — услышал я чей-то голос, и чьи-то шаги за окном заторопились, боясь упустить зрелище.

Я вскочил и выбежал на улицу. Возле лоткинского крыльца стояла небольшая толпа и машина «скорой помощи». Обе створки дверей его квартиры были как-то не по-жилому распахнуты, словно их распахнул взрыв случившейся катастрофы. Толпа колыхнулась, в зиянии дверей появились санитары с носилками, прикрытыми простыней.

Когда санитары спустились с крыльца, я увидел слабое очертание тела, лежавшего под простыней. Кисть руки высывалась из-под простыни и, непомерно длинная, свисала с края носилок.

Когда машина уехала, я с некоторыми ребятами с нашей улицы сумел пробраться в дом и увидел разоренную комнату с разбросанными вещами, с широкой кроватью, на которой простыни и одеяла были вздыблены и перекручены, как бы хранили следы ужаса и борьбы. Видно, она как-то сопротивлялась. Над постелью на стене остались отпечатки окровавленных пальцев. Пятна следов подымались над постелью все выше и выше, и чем выше они поднимались, тем слабее становились кровавые отпечатки пальцев. Казалось, жена Лоткина пыталась уйти от него, карабкаясь по стене. Говорили, что он ее зарезал бритвой.

Лоткина я больше не видел. Его увели милиционеры раньше, чем я туда пришел. Об этом случае долго толковали на нашей улице, и смысл этих толков сводился к тому, что он ее любил, а она его не любила или любила другого.

После этого случая самоуважение Богатого Портного усилилось, потому что получалось, что он один предвидел, чем это все кончится. И вот теперь в спорах с Алиханом Богатый Портной напоминал ему о Лоткине, который перед самой этой ужасной историей успел вставить Алихану зубы.

А между тем велосипедист продолжал с непонятным упрямством подъезжать к самому краю обрыва и по-преж-

нему, не обращая ни малейшего внимания на окружающих, благополучно тормозил, приподымал велосипед и спускался в канаву.

— Чтоб этот балкон провалился, если он не сломает себе шею, — сказал однажды Богатый Портной, проследив за этой неумолимой процедурой.

— Его велосипед, его шея, — тут же отозвался Алихан, — какое твое дело?

— Порядочный человек так не делает, — сказал Богатый Портной, сумрачно из кружки поливая цветник. Теперь он поливал цветы прямо из кружки, тогда как раньше всегда сначала набирал воду в рот, а потом уж прыскал.

— А как делает? — спросил Алихан, подымая голову.

Богатый Портной бросил кружку в ведро с водой и посмотрел вниз на Алихана, помедлил, собираясь с мыслями.

— Во-первых, порядочный остановит свой велосипед хотя бы за пять-шесть шагов, — начал он, — во-вторых, посмотрит вокруг и поздоровается с соседями, а потом уже пойдет в свою канаву... Лоткин и то лучше был, — неожиданно добавил он.

— Почему? — удивился Алихан.

— Лоткин хотя бы от души здоровался со всеми, — сказал Богатый Портной, — а этот нас за людей не считает!

— Тогда скажи, за кого считает? — быстро спросил Алихан.

— За барахло считает, — мрачно сказал Богатый Портной, — даже кепку ехидно надевает... Мол, на вас даже смотреть не хочу, так надевает, — пояснил Богатый Портной и добавил, возвращаясь к привычной лоткинской версии: — Лоткин шляпу надевал, и то у него номер не получился...

— При чем тут Лоткин! — закричал Алихан. — Лоткин через свое женское горе пострадал.

— А этот через свое упрямство пострадает, — сказал Богатый Портной и пророчески погрозил пальцем в воздухе.

Дни шли, а человек на велосипеде, все так же нахлобучив кепку на самые глаза, продолжал подъезжать к самому обрыву.

Иногда Алихан запаздывал со своей тележкой и, появляясь на улице, смотрел на балкон, взглядом спрашивая

у Богатого Портного: мол, как там дела? Богатый Портной в ответ молчал, из чего следовало, что возмездие все еще предстоит.

Иногда сам велосипедист запаздывал, и тогда Богатый Портной, если был занят у себя в комнате, время от времени выходил на балкон и посматривал на улицу. При этом он старался сделать вид, что просто так вышел. Якобы так, беззаботно посмотрит в одну сторону, откуда должен был появиться велосипедист, потом в другую сторону, хотя в другую сторону ему и не надо было смотреть, потому что он оттуда никого не ждал.

Ребята с нашей улицы обычно в такое время сидели на травке у забора как раз напротив его балкона и, конечно, все понимали. Особенно было смешно, когда он выходил, что-нибудь жуя, потому что в это время он ужинал и вставать из-за стола у него не было никаких причин, кроме желания не пропустить ненавистного велосипедиста.

В таких случаях, если он задерживался на балконе, жена его звала из глубины квартиры и, если он не сразу возвращался, сама появлялась и слегка подталкивала его в комнату. Лениво жуя, она сама в последний раз бросала взгляд вдоль улицы и исчезала.

— Едет! Едет! — иногда кричали наши ребята, когда велосипедист появлялся в конце квартала, а Богатого Портного на месте не было.

— Ну и что?! — кричал Богатый Портной, выскочив на балкон. — Подумаешь, какое мое дело!

А сам оставался на балконе, пока не убедится, что упрямый велосипедист и на этот раз невредимым сошел в свою канаву. Если в это время Оник где-нибудь поблизости катался на велосипеде, он, кивнув в его сторону, говорил Алихану:

— Какой пример детям показывает, а?

— Какой пример? — удивлялся Алихан.

— А если Оник захочет то же самое?

— Никогда не захочет, — уверенно отвечал Алихан.

— Оник! — кричал Богатый Портной яростно. — Если будешь крутиться возле канавы, как Лоткин, задушу тебя своими руками!

— Я не кручусь, папа! — отвечал Оник и отъезжал подалее от канавы.

Дни шли, а велосипедист продолжал целым и невредимым подъезжать к самому краю обрывистого спуска. И ко-

гда Богатый Портной отводил от него глаза, полные гневного недоумения, то, как правило, встречался с приподнятыми на него ясными глазами Алихана.

— Я тебе говорю, — кивал Алихан, — этот человек свое дело знает.

— Чем даром здесь сидеть, — злился Богатый Портной, — лучше бы пошел сторожить мой сад.

— Я коммерсантом родился, коммерсантом умру, — спокойно отвечал ему Алихан.

— Твоя коммерция — воздух! — говорил Богатый Портной и, плюнув на руку, громко шлепал ею по днищу утюга.

— Эй, гиди, время, — вздыхал Алихан и, покачивая головой, смотрел на него, как бы распределяя свой упрек между вечностью и Богатым Портным.

Однажды велосипедист появился, держа под мышкой буханку хлеба. На этот раз он руль держал одной рукой и ехал гораздо медленнее. Мы все, а в особенности Богатый Портной, ожидали, что он хоть на этот раз остановит свой велосипед пораньше. Но он и теперь доехал до самого края и затормозил, как обычно.

После этого случая мы стали замечать, что он довольно часто приезжает то с буханкой хлеба под мышкой, то с корзинкой на руке и каждый раз благополучно сходит в свою канаву.

— Хоть бы в газету завернул, — сказал однажды Богатый Портной, имея в виду хлеб, который тот привозил.

— Его хлеб, как хочет, везет, — ответил Алихан.

— Ты думаешь, что он будет делать, если хлеб упадет в канаву? — неожиданно спросил Богатый Портной.

— Ничего, — несколько растерянно ответил Алихан.

— Подымет и покушает, — уверенно сообщил Богатый Портной и быстро вошел в комнату.

Однажды человек на велосипеде приехал с коровьей головой, которую он держал за рог в слегка оттянутой, чтоб не закатать велосипед, левой руке. Богатый Портной обомлел и замер на своем балконе, увидев такое. Покамест тот спускался в канаву, он, несколько раз качнув головой, даже присвистнул: дескать, дождались.

— Алихан, что это? — тихо спросил Богатый Портной, приходя в себя.

Алихан на этот раз сидел, слегка насупившись, как бы признавая свою некоторую ответственность за поведение

велосипедиста и в то же время готовый оказать сопротивление ввиду не такой уж значительности самого проступка.

— Ничего, — ответил Алихан сухо.

— Как ничего, Алихан?! — простонал Богатый Портной, умоляя его хотя бы не отрицать того, что каждый только что видел своими глазами.

— Коровина голова, больше ничего, — сказал Алихан и, подняв собственную голову, твердо посмотрел ему в глаза, как бы отбрасывая всякую возможность мистического толкования этого события.

— Он что, на бойне работает? — спросил Богатый Портной с таким глубоким изумлением, словно, окажись велосипедист работником бойни, сразу же можно было бы этим объяснить и все остальные его странности.

Алихан хаживал на бойню, где доставал потроха для хаша. Иногда он их приносил и Богатому Портному. Алихан хорошо знал всех работников бойни.

— Зачем на бойне, — сказал Алихан просто, — на базаре тоже продают.

— Дай бог мне столько здоровья, за сколько он эту голову купил, — ответил Богатый Портной.

— Тогда скажи, где взял?! — воскликнул Алихан.

— Где взял, не знаю, — ответил Богатый Портной, успокаиваясь оттого, что Алихан начинал сердиться, — но Лоткина ты тоже защищал...

— При чем Лоткин, при чем голова! — закричал Алихан и, неожиданно взмахнув рукой, добавил: — Иди в свою комнату!

— На моем сидит и меня прогоняет, — задумчиво сказал Богатый Портной, обращаясь ко всей улице и как бы давая через этот маленький пример всем убедиться, какой Алихан несправедливый человек.

Однажды велосипедист особенно долго не возвращался. У Богатого Портного в доме был клиент, так что с балкона он не мог следить за тем, что происходит на улице. Он только время от времени выскакивал на балкон, чтобы не пропустить велосипедиста.

— Я скажу, когда будет, ты иди, — говорил ему Алихан и гнал его с балкона.

Человек пятнадцать ребят с нашей улицы, как обычно, сидели на лужайке напротив балкона Богатого Портного.

Уже и видно было плохо, когда велосипедист появился на углу.

— Едет! Едет! — хором закричали ребята, опережая Алихана.

— Ну и что?! Пускай едет! — выскочив на балкон, стал огрызаться Богатый Портной, но внезапно замолк, увидев велосипедиста. И тут все сразу заметили, что на этот раз он едет как-то странно, велосипед страшно вихлял. Никто не мог понять, в чем дело. Первым догадался Алихан.

— Клянусь аллахом, он пьяный! — воскликнул Алихан и даже встал.

— Не мое дело! — радостно отозвался Богатый Портной и, обернувшись в комнату, крикнул: — Эй, сюда, сюда!

На балконе появилась жена Богатого Портного и клиент в пиджаке без рукавов, впрочем, один из рукавов Богатый Портной держал в руке.

— В чем дело? — спросил клиент, глядя на свой рукав, которым беспрестанно взмахивал Богатый Портной.

— Потом, потом, туда смотри! — воскликнул он и от нетерпения заходил ходуном по балкону.

— Пьяный не считается! — крикнул Алихан в сильнейшем возбуждении.

— Спор есть спор! — выкрикнул Богатый Портной, взмахивая рукавом.

— Пьяный и без велосипеда может упасть! — не сдавался Алихан.

— Будь мужчиной, Алихан, спор есть спор! — еще успел крикнуть Богатый Портной.

Все мы, ребята с нашей улицы, оцепенев от волнения и какой-то странной жути, ждали, что будет. Метров за десять от канавы он, словно вспомнив об опасности, казался, стал сворачивать на мост, но потом поехал дальше. Подъехав к обрыву, он притормозил и мгновенье, балансируя рулем, стоял над обрывом, словно решая, а не спуститься ли на велосипеде, но нет — накрепился и стал одной ногой на землю.

Взрыв рукоплесканий, свист и вопли восторга поднялись над лужайкой, как над трибунами стадиона. Богатый Портной даже как-то подпрыгнул на своем балконе, что-то крича и махая рукой в знак яростного протеста.

И тут, кажется, впервые этот человек поднял голову и удивленно посмотрел вокруг. Увидев нас, пацанов, он

улыбнулся нам слабой улыбкой пьяного, не вполне понимающего, в чем дело, человека. Потом он, как обычно, поднял велосипед и, пошатываясь, сошел с обрыва. Богатого Портного он, по-моему, так и не заметил.

На следующий день в гости к Богатому Портному приехал автоинспектор. Я уверен, что Богатый Портной жаловался ему. После долгого обеда они вышли на улицу и разговаривали, стоя у заведенного и повернутого в нужную сторону мотоцикла. Это было всем заметно, да они, а в особенности Богатый Портной, и не скрывали этого.

Как только на углу появился велосипедист, автоинспектор вскочил в седло и, извергая апокалиптические громы (уж не снял ли он нарочно глушители?!), рванул с места на большой скорости и через несколько секунд в тучах пыли, скрывшей обоих, остановился возле велосипедиста.

Когда осела пыль, мы увидели, что велосипедист стоит возле автоинспектора, хотя в то же время продолжает сидеть в седле, только протянул к земле одну ногу.

По лицу Богатого Портного было видно, что сама поза велосипедиста ему не нравится. Не то чтобы автоинспектор обещал наехать на него, но, видно, обещал пугануть упрямяца как следует, да, видно, что-то не так получилось.

Они разговаривали, как равный с равным, и даже оба сидели в своих седлах. И только велосипедист что-то говорил, довольно независимо кивая головой в сторону речушки.

Постепенно их окружили мужчины с нашей улицы, в том числе и Алихан. Как водится в таких случаях, они их слушали с важным видом, а иногда и сами что-то вставляли. Оник объезжал всю эту группу на своем велосипеде, на ходу прислушиваясь к тому, что они говорили. Богатый Портной к ним так и не подошел, а остановился поблизости, как не слишком заинтересованный, но все же любопытствующий человек. Время от времени он, не слишком улавливая течение разговора, вставлялся одной и той же фразой:

— Нет, если для детей не вредно, пожалуйста...

Наконец велосипедист оттолкнулся ногой и поехал к своей канаве. Автоинспектор, продолжая держаться за руль, круто обернулся, то ли стараясь разглядеть, есть ли у него номер под седлом, то ли ему тоже было интересно, как этот упрямец доезжает до самого спуска. Тут Богатый

Портной подошел к автоинспектору. Ковыряя спичкой в зубах, он тоже посмотрел вслед велосипедисту каким-то пустующим взглядом.

Когда тот скрылся, Богатый Портной, продолжая ковырять спичкой в зубах, посмотрел на автоинспектора своим пустующим взглядом. Было похоже, что этим ковырянием он напоминает кунаку о долгом обеде.

— Имеет право, — сказал автоинспектор, взглянув на Богатого Портного. Казалось, он смутно угадывает намек и сам изумляется своей догадке.

— Нет, если детям не вредно, пожалуйста, — холодно повторил Богатый Портной, продолжая задумчиво ковыряться в зубах. Возможно, теперь это означало, что, хотя долгие обеды в его доме не отменяются, но список приглашенных лиц подвергнется жестокому пересмотру.

Автоинспектор дал газ и уехал. На обратном пути Алихан рассказывал, как этот велосипедист здесь появился. Оказывается, он живет над нашей речушкой у самого выезда, на параллельной улице. Там почти такой же мост и почти такой же спуск. После бурных дождей возле его дома случился оползень, и выход на шоссе был разрушен. Вот он и избрал этот путь на работу через нашу улицу.

— Хорошо, — перебил его Богатый Портной, — а мой дармоед что говорит?

— Он говорит, — ответил Алихан миролюбиво, — им про оползень все известно, и они его починят.

Рядом с высоким сутуловатым Алиханом, опрятно сдерживающим торжество, маленький Богатый Портной шел, слегка прихрамывая. Так, прихрамывая, бывало, покидали поле наши футболисты после очередного проигрыша.

— А зачем он до самого края доезжал? — кивнул Богатый Портной на речушку.

— Это, говорит, мое дело, имею полное право, потому что рабочий кожзавода.

— А, — сказал Богатый Портной, догадываясь, — что хетят, то и делают.

— Да, — сказал Алихан, — хозяин...

Богатый Портной поднялся к себе, а Алихан еще немного постоял у калитки, следя за собой, чтобы не дать прорваться ликованию. И вдруг Богатый Портной появился на балконе.

— Алихан, — склонился он над перилами.

— Что? — живо откликнулся Алихан. Наверное, он решил, что Богатый Портной зовет его поиграть в нарды.

— Все же коровину голову он на бойне взял, — сказал Богатый Портной.

— При чем?... — вздрогнул Алихан от неожиданности.

— При том, что кожзавод находится рядом с бойней, Алихан, — сказал Богатый Портной и быстро покинул балкон, так что Алихан только и успел поднять свои круглые брови над круглыми глазами.

Кожзавод был и в самом деле расположен рядом с бойней (он и сейчас там), и, вероятней всего, этот парень там и купил коровью голову. Сказав, где работает этот парень, Алихан в сущности сделал слабый ход, которым воспользовался Богатый Портной.

Не знаю, как в других краях, но у нас автоинспектор слов на ветер не бросает. Через неделю упрямый велосипедист перестал появляться на нашей улице. Видно, дорогу и в самом деле привели в порядок.

Возгласами: «Едет! Едет!» — нашим ребятам пару раз удалось заставить Богатого Портного выбежать на балкон, но потом рефлекс этот быстро отработался, да и сам Богатый Портной вскоре переехал на свой участок и больше в нашем доме на моей памяти не появлялся.

Тетушка моя время от времени, примерно раз или два в год, ходила в гости к Богатому Портному. Каждый раз она оттуда приносила удивительные новости. Больше всего поразило ее воображение, что Богатый Портной отвел воду от речушки на свой участок, где вырыл небольшой бассейн.

— В бассейне утки плавают, в беседке скамейка стоит, — сокрушенно рассказывала она каждый раз, возвращаясь оттуда.

— Ну и что? — сказал мой старший брат, когда она впервые об этом заговорила. — В беседке всегда скамейка стоит.

— Дурачки вы мои, дурачки, — печально покачала тетушка головой, как бы стараясь внушить, что дело не в самой беседке, а в том, что она наглядное звено в гармоничной системе, созданной руками Богатого Портного.

В конце концов, эта ее фраза превратилась для нас в символ глуповатой благопристойности и вообще всякой липы.

— В бассейне утки плавают, — говорили мы, и сразу же становилось ясно, что это за кинофильм, что это за книжка или что это за обещания.

— Смейтесь, дурачки, — печально отзывалась тетушка, хотя сама была человеком удивительно легкомысленным и в то же время очень впечатлительным. Как человек легкомысленный, она забывала, что сама далека от идеалов Богатого Портного, но, как человек впечатлительный, она, побывав у него на участке, воспламенялась красивым результатом его идей, стараясь и нас воспламенить своими восторгами.

\* \* \*

На этом я временно прерываю жизнеописание Богатого Портного с тем, чтобы рассказать несколько случаев из более бурной и менее благочестивой жизни хироманта.

Во время войны, когда начались бомбежки нашего города, в сущности бомбили всего два раза, пещера хироманта была превращена в бомбоубежище. К этому времени на горе поблизости от пещеры понастроили десятка два домов, в результате здесь образовался небольшой пригородный поселок. К владельцам этих домов подсаелись беженцы, так что людей хватало.

Вторая сталактитовая пещера была расположена повыше, но карабкаться туда было далековато. К тому же она была не слишком удобна, потому что коридор ее метров через десять от входа круто опускался вниз, и впопыхах там легко можно было сорваться и проломить голову без всякой бомбы.

В первое время, говорят, хиромант именно туда и гнал всех, кто пытался укрыться в его пещере, но потом почему-то легко примирился с этим, и когда после тревоги люди расходились по домам, он им говорил:

— Чуть что, бегите сюда, не стесняйтесь...

Говорят, особенно в первое время туда набивалось черт те сколько людей. К тому же они по неопытности тащили с собой все, что могли унести из дому, а унести они пытались все. Так что дети хироманта, пользуясь светомаскировкой, а точнее, полным отсутствием света, паникой, которую нагонял ослик, загнанный сюда же и шарахающийся после каждого залпа зенитки, одним словом, пользуясь всей этой вавилонской бестолковщиной, дети хироманта

ползали по перепуганным людям и при этом нередко вползали в их узлы, чемоданы и даже карманы, говорят.

Говорят, один беженец, выйдя из пещеры после тревоги с основательно полегчавшим чемоданом, — уж не знаю, что там лежало? — воскликнул:

— Лучше б я под бомбежку попал!

Позже люди перестали таскать свой скарб, но все-таки бегать туда продолжали, потому что немецкие самолеты всегда встречались таким дружным зенитным огнем, что люди не без основания полагали, что летчики с перенугу как раз и угодят бомбой на эту окраину.

Вскоре женщины поселка стали замечать, что их мужчины, как только объявляется тревога, обгоняя друг друга и оставляя далеко позади свои семейства, первыми вбегают в пещеру.

Потом стали замечать, что после отбоя сна, эти храбрецы, выходя из пещеры какими-то веселыми, как бы слегка обалдевшими от страха или еще от чего-то там.

Но тут возникшие было подозрения рассеял один эвакуированный интеллигент, который, тоже весьма бодро и тоже обгоняя свое семейство, бегал в пещеру. Он объяснил, что такое состояние несколько вынужденного веселья после пребывания в пещере вызывается так называемым озонным опьянением. Почему это озонное или сезонное, как его перекрестили, опьянение действует только на мужчин, он не стал объяснять.

Позже, когда некоторые мужчины и после отбоя старались задержаться в пещере, яростно доказывая, что немецкие самолеты могут вернуться, а другие стали туда бегать и без всякой тревоги, среди бела дня, первоначальные подозрения снова всплыли и даже полностью оправдались.

Короче, выяснилось, что хиромант во время тревоги, пользуясь темнотой и вообще бомбофобией, довольно простительной для военного времени, спаивает остатки, и без того довольно жалкие, поселковых мужчин. Учтем, что лучшие из них в это время были там, где положено быть лучшим, — на фронте.

К этому времени хиромант приспособился гнать самогон из подножного ассорти, куда входили: бузина, крапива, экала, кислица и все, что можно было натрусить в окрестных садах. Самогонный аппарат стоял в глубине пе-

щеры и в сезон работал почти круглосуточно, как маленький военный завод.

Разумеется, плату за это удовольствие он повышал соответственно катастрофичности момента, может быть, даже с учетом своевременной доставки, хотя доставлять было неоткуда, ибо запасы хранились тут же, в одном из естественных тайников пещеры.

Но главное, что хитрец, поднося своим испуганным клиентам кружку с самогоном, тут же давал на закуску лавровый листик, благо одичавших лавровых деревьев на этой горе росло немало. А лавровый лист, как известно, отбивает всякие низменные сивушные запахи, оставляя один свой возвышенный древнегреческий запах. Так что мужчины этого поселка выходили из пещеры, увенчанные хоть и не лавровым венком, но все же лавровым запахом. В этом полублаженном состоянии они вполне безнаказанно ходили по нашему пригородному Олимпу, может быть, только тем и отличаясь от обитателей того древнего Олимпа, что походке их недоставало некоторой величавой твердости.

В конце концов, как и все хитрецы, хиромант погорел на своей хитрости. Одна женщина во время очередного пребывания в бомбоубежище, видимо, решив в темноте следить за своим мужем, выхватила кружку из его руки, которую подsunул ему хиромант. Вернее, случилось так, что кружку-то он сумел сунуть ее злополучному мужу, а лавровый листик подал ей по ошибке.

Действовал он все же в темноте, и нельзя сказать, что движения его отличались безукоризненной точностью, ибо себя во время работы он, конечно, тоже не обносил, хотя сам лавровым листом и не закусывал. Не исключено, что сказался его долголетний рефлекс хироманта и он, забывшись, потянулся к женской ладони. Одним словом, как и всякий человек, хиромант мог ошибиться, и я, несколько не пытаюсь его оправдать, просто хочу понять, как это случилось.

Стало быть, женщина догадалась, в чем дело, и, продолжая держать в одной руке этот лавровый лист, другой вырвала кружку из рук своего мужа. Балбес, вместо того чтобы сразу выпить, медлил, все еще дожидаясь лаврового листа, словно находился не в пещере во время тревоги, а где-нибудь в довоенной закуской.

Вырвав кружку, женщина молча плеснула ее на бороду хироманта, может быть слегка светящуюся в темноте, по-

тому, что, по уверению очевидцев, хиромант не сразу ей ответил, а сначала (вечно у нас преувеличивают!) сунул бороду в рот и стал ее обсасывать.

Плеснув из кружки, женщина эта, говорят, обернулась к мужу и, тыча ему в лицо лавровый лист, сказала с неслыханным ехидством:

— Жуй, детка, жуй!

Возмущенный муж попытался ей объяснить, что он ничего жевать не собирается, что он только попросил напиться и хиромант ему принес воды, а теперь он не понимает, что здесь происходит.

Но тут, говорят, хиромант дососал свою бороду и стал выгонять ее из пещеры. Та с криком, обращаясь к другим женщинам, начала разоблачать хироманта, одновременно не давая себя вытолкнуть из пещеры, и в этой локальной части своей борьбы была решительно поддержана собственным мужем.

— Ругать ругай, а гнать не имеешь права, — говорил он хироманту, слегка придерживая жену.

Но тут вмешались остальные женщины, и в пещере под гром зениток разразился бедлам, который еще мог притихнуть вместе с зенитками или даже раньше, да беда в том, что в самый разгар его один из волчат хироманта подполз к этой женщине и сунул ей за пазуху летучую мышь.

Тут она издала вопль такой силы — женщина, разумеется, а не летучая мышь, — что некоторые окрестные жители, те, что не пользовались пещерой, решили, что в пещере обвалился свод, и, радуясь за себя, скорбели за несчастных. Другие решили, что семерка рыжеголовых набросилась на одну из женщин с какой-то неясной, но, во всяком случае, нехорошей целью.

Говорят, вопль этот был услышан и в доме Богатого Портного, который к этому времени переселился на свой участок, расположенный под горой.

— Когда Лоткин свою жену резал, и то она так не кричала, — говорил он впоследствии про этот вопль, хотя, как было известно на нашей улице, жена Лоткина вообще не кричала в ту трагическую ночь. Но тут об этом не знали, и поправить его было некому. Впрочем, и на нашей улице его никто не поправлял, кроме бедняги Алихана. А что он мог один?

И вот эта женщина с воплем выбежала из пещеры и, продолжая вопить, словно за пазухой у нее лежал кусок горячей пакли, бежала по склону в сторону своего дома.

Говорят, когда ее поймали и вытащили из-за пазухи летучую мышь, та была мертва. Говорят, они, эти летучие мыши, далеко не всякие звуки выдерживают. Вроде бы у них аппарат восприятия звуков до того нежный, что они умирают, когда в воздухе появляются душераздирающие вибрации. Не удивительно, что у некоторых людей тоже наблюдается излишняя изнеженность слухового аппарата.

\* \* \*

Однажды я сам был свидетелем такой картины. В кабинет учреждения, где работал один мой знакомый, любимец муз, приоткрылась дверь, всунулась голова начальника и выбросила из себя довольно длинную струю не слишком печатных выражений. И вдруг на глазах у нас, посторонних людей, как только струя эта коснулась чуткого уха сотрудника, он стал оседать на своем стуле. Голова его красиво поникла, а глаза прикрылись веками. В сущности, он потерял сознание в самом начале струи, так что основная часть ее вылилась даром, он ее уже не воспринимал, если не считать нас, посторонних посетителей, которых она, эта струя, обрызгала, можно сказать, профилактически.

Когда мы нашего друга привели в чувство, он улыбнулся слабой улыбкой и прошептал, показывая на ухо:

— Не могу привыкнуть...

А ведь на вид детина был дай бог. Но слух не приспособлен. Вернее, приспособлен для музыки высших сфер, а для матовой ситуации не приспособлен.

Кстати, нельзя сказать, что профком учреждения, о котором идет речь, прошел мимо этого случая. На очередном собрании начальнику сделали серьезное внушение за то, что он непотребными словами общался с подчиненным при посторонних.

Начальник принялся оправдываться, указывая на то, что он посторонних не заметил, что он только приоткрыл дверь, тем самым прикрыв посторонних, что, кстати, с печальным благородством подтвердил и пострадавший.

Но тут начальнику вполне резонно заметили, что в tomto и беда, что сначала надо было войти, поздороваться,

а потом уже дело говорить. Ну хорошо, сказали ему, на этот раз посторонние оказались своими, но бывает, что в кабинете могут оказаться чужие посторонние, скажем, иностранцы в порядке культурного обмена... Тогда что? Накладочка?!

Но тут начальник попытался оправдаться, говоря, что накладочка никак не может получиться, потому что если иностранец и забредет в учреждение в порядке культурного обмена, то он прямо попадет к нему в кабинет, и он уже сам его водит по другим местам и рассказывает что-нибудь общедоступное, а про дело не говорит. А если ненароком и сорвется с губ какое-нибудь словцо, то переводчик на то и переводчик, чтобы придать ему легкое иностранное звучание.

Не знаю, чем у них там закончилось собрание, но знаю одно, что когда я в следующий раз посетил это учреждение, там двери во всех кабинетах были перевешены в обратном порядке. Может, это случайность, как и то, что теперь, приоткрывая дверь, можно было одним взглядом охватить внутреннюю жизнь кабинета и, уже в зависимости от этого, прямо с порога излагать свои накипевшие мысли.

\* \* \*

Одним словом, после этого скандала, я имею в виду пещеру, женщины поселка, во главе с пострадавшей, пошли жаловаться в райсовет, желая выселить хироманта из пещеры. Самое удивительное, что муж ее, приняв пристойный вид, вместе с ними отправился туда же.

Там он рассказал о том, как постепенно хиромант втягивал его в свои алкогольные сети, как он сначала не хотел пить, но тот его коварно уверял, что самогон снимает страх перед бомбами, что сперва так оно и было, а потом он уже привык.

Ко всему этому он еще приплел, что жена его отчасти обещена прикосновением летучей мыши и что теперь, как только он хочет ее обнять, он вспоминает летучую мышь, и у него объятия нередко повисают в воздухе.

Тут, говорят, товарищ из райсовета махнул на него рукой и стал слушать остальных делегатов. Жалобы в основном сводились к тому, что хиромант со своими детьми ме-

шает жителям поселка культурно переждать бомбежку. Как водится в таких случаях, вспомнили все, что было и не было.

Так, многие говорили, что у них в поселке исчезают куры и что, скорее всего, это дело рук хироманта.

Хиромант не отрицал, что он давал иногда кое-кому пару глотков самогона. Но кому? Только тем, кто своим трусливым поведением способствовал ложным слухам. Что касается кур, то тут он сказал, что никогда так низко не опускался, чтобы воровать кур, и дал честное слово дворянина, что этого никогда не было.

На это честное слово дворянина товарищ из райсовета не обратил ни малейшего внимания, но обратил внимание на то, что нет доказательств.

В конце концов, учитывая большое количество детей хироманта и что жена его почти мать-героиня, товарищ из райсовета принял довольно гуманное решение.

По окончательному постановлению райсовета полагалось выселить хироманта с семьей из нижней сталактитовой пещеры, превратив ее в бомбоубежище, и вселить в верхнюю сталактитовую пещеру. При этом райсовет обязался кирпичной кладкой огородить крутой спуск в пещере ввиду многочисленности его небузданных детей и возможности несчастного случая.

— Скажи спасибо детям, — сказал ему товарищ из райсовета. — Советская власть даже из твоей рыжей команды сделает настоящих людей.

— Дай бог, — смиренно согласился хиромант.

Таким образом, райсовет оставил хироманта с его семьей в нижней сталактитовой пещере впредь до кирпичной кладки в верхней. Решение это оказалось выгодным хироманту и ставило противников в довольно затруднительные условия, особенно мужчин, привыкших взбадриваться. Теперь, говорят, хиромант во время тревоги устраивался напротив той злополучной парочки и, звякая бутылкой, наливал себе в кружку сколько хотел, при этом долго разговаривал с напитком, дурашливо укоряя его за соращение нестойких мужчин. После этого он вливал его в свое kloкочущее горло. Невезучий муж этой женщины, как и все другие мужчины, молча сносил эту изощренную пытку. Но жена его не выдерживала.

— Овца, — обращалась она в темноте к своему мужу, — скажи ему, что тебе противно смотреть!

— Мне противно смотреть, — повторял муж, не сводя зачарованного взгляда с темного силуэта совратителя.

В конце концов, через некоторое время часть жалобников дрогнула и пала к ногам хироманта, после чего он возобновил снабжение их бодрящим напитком. Другая часть под влиянием жен и собственной зависти к изменникам до того ожесточилась, что решила в верхней пещере поставить кирпичную кладку, не дожидаясь райсовета, за собственный счет. Неизвестно, чем бы это все кончилось, если бы не грянул счастливый случай, который сделал хироманта недосягаемым для окружающих.

Как раз в один из этих дней в горах сравнительно недалеко от нашего города выбросились на парашютах из подбитого «юнкерса» два немецких летчика.

Кстати, жители нашего города долгие годы утверждали, и, кажется, до сих пор утверждают, что самолет подбили именно наши зенитчики. При всем моем уважении к нашим старожилам должен сказать, что это маловероятно. Даже нам, тогдашним мальчишкам, было ясно, что самолет, упавший недалеко от города, хоть и в горах, никак не мог быть подбитым над городом, потому что самолеты эти всегда пролетали очень высоко. Так что подбили его, скорее всего, где-то над Батумом или над Гаграми в крайнем случае, но никак не над нашим городом.

Правда, в те времена слухи эти ввиду их полезного воздействия на жителей города не опровергались, хотя официально, скажем, через газету или радио и не подтверждались никак.

Напав на след этих летчиков, бойцы истребительного батальона гнались за ними целую ночь и в конце концов до того их запутали, что они не нашли ничего лучшего, как после длительного бегства выбежать на нашу пригородную гору и укрыться в верхней пещере.

Правда, дело происходило ночью, а город был погашен ввиду всеобщей маскировки (вот что значит хорошая маскировка, а некоторые в те времена недооценивали ее), так что ночью летчики могли и не заметить, куда их загнали, а утром было поздно.

На рассвете к пещере подошли бойцы истребительного батальона, состоявшего из выбракованных, непригодных для армии абхазских крестьян со своим командиром, русским лейтенантом-фронтовиком.

Пытались было сунуться в пещеру — летчики стреляют. Лейтенант, дождавшись открытия городских учреждений, послал туда человека за переводчиком. Пришел переводчик с рупором, вроде тех, что употребляют физруки на общешкольных зарядках и на стадионе (уж не в нашей ли школе он его прихватил?!).

Говорят, этот рупор, может быть, потому, что на нем было несколько латок, сразу же не понравился бойцам истребительного батальона. Говорят, при виде этого рупора некоторые высказались, правда, по-абхазски, что городские власти могли и поновой кричалку прислать по этому случаю.

Так или иначе, переводчик подошел к краю пещеры и, осторожно высунув рупор, прокричал в глубину, чтобы немцы сдавались по-хорошему, а то их возьмут по-плохому. Несколько раз он повторял свое предложение, но немцы ничего не отвечали.

Немцы молчали, но бойцы истребительного батальона, услышав звуки языка, никак не похожего ни на грузинский, ни на армянский, ни на турецкий, ни на греческий, ни даже на русский, стали хохотать, уверяя друг друга, что на такой тарабарщине двуногое существо говорить никак не может и не должно.

Бойцы истребительного батальона до того развеселились, что стали мешать переводчику, и лейтенант вынужден был на них прикрикнуть. Бойцы слегка притихли, но зато свои насмешки перенесли на самого переводчика и его трубу. Сначала они ему предлагали, чтобы он свою кричалку закинул немцам, а то им нечем ему отвечать, а себе притащил бы другую, если эта не единственная кричалка на весь город. Главное, говорили они ему, перекинуть ее через верхнюю площадку, а там сама вниз покатится.

Толмач продолжал кричать немцам, стараясь не обращать внимания на насмешки. Немцы продолжали молчать, а бойцы истребительного батальона вовсе распались, уверяя, что если он вкричится в одно место в-о-н того ослика, что пасется на склоне, то оттуда он найдет якобы больше отзвука, и притом понятного на всех языках.

То ли от волнения, то ли с отчаянья, стараясь доказать, что немцы все-таки будут ему отвечать, толмач, крича им в очередной раз, слишком сильно высунулся, правда, за счет своего рупора, а не за счет своей головы.

И вдруг из пещеры раздался выстрел. Рупор выпал из рук переводчика, и сам он свалился, схватившись руками за рот. Бойцы истребительного батальона подскочили к нему, решив, что пуля, пробив рупор, рикошетом влетела ему в рот, потому что все видели, что хоть он и сильно высунулся, а все же не за счет головы, а за счет рупора.

Но, слава богу, все обошлось. Не успели они подойти, как он вскочил на ноги и только попросил достать ему рупор, который выкатился на такое место, что его можно было еще раз прострелить из пещеры. Один из бойцов осторожно поддел его дулом вытянутой винтовки и вернул в безопасное пространство. Бойцы истребительного батальона убедились, что рупор был пробит насквозь. Каждый из них счел своим долгом всунуть палец в выходное отверстие и подивиться силе немецкой пули. Некоторые нюхали его, уверяя, что оно чем-то пахнет.

Переводчик окончательно пришел в себя и снова стал кричать в свой рупор, чтобы немцы сдавались по-хорошему, но на этот раз звук его голоса, наверное из-за дыр в рупоре, вырывался неубедительно, с какими-то позористыми ответвлениями. Так что тут не только бойцы истребительного батальона стали хохотать, но и сам лейтенант не выдержал и сурово улыбнулся. К довершению всего ослик хироманта, что пасся тут же на склоне, неожиданно закричал своим тоскливым голосом, и получилось, что он-то как раз и отвечает на призыв переводчика, хотя, скорее всего, он кричал сам по себе, по своим надобностям.

Переводчику велели отдохнуть, и лейтенант стал советовать, как быть дальше. Некоторые бойцы истребительного батальона предлагали взять пещеру приступом, кстати, пустив вперед этого ослика, что даром здесь пасется, чтобы немцы отвлекли на него свой огонь.

Другие предлагали, пока ветер дует с моря, развести у входа из пещеры большой костер, и немцы, в конце концов, задыхаясь от дыма, будут прыгать из пещеры прямо в огонь, откуда их останется только выкатывать, как печеные каштаны.

Лейтенант оба эти предложения отверг. Он полагал, что немцев могут убить во время штурма, тем более ему не хотелось брать в плен каких-то там обгорелых, подпорченных немцев.

— За целый год, — сказал он, — один самолет сбили, и я вам этих немцев не дам испортить.

— Как хочешь, — сказали бойцы истребительного батальона, — нам на этих немцах не пахать.

Они опять расположились на лужайке под пещерой и развели костер, замаскировав его к вечеру плащ-палаткой. Так они просидели до утра, вспоминая всякие деревенские истории. Временами кто-нибудь из них оглядывался на пещеру, приговаривая, что если уж немцы выскочат из нее, то никак не может случиться, чтобы хоть один из них этого не заметил.

— Такого и быть не может, — услышав эти слова, заключал один из остальных бойцов, окончательно успокаивая и без того спокойного товарища.

На следующее утро бойцы опять запросили лобовой атаки, ссылаясь на то, что немецкие летчики, по слухам, едят шоколад, и на нем они могут продержаться до самых холодов. Лейтенант заколебался.

Бойцы стали искать глазами ослика, которого они собирались пустить вперед, но его нигде на склоне не оказалось. Тогда кто-то вспомнил, что возле ослика все время сидел один из волчат хироманта, которого они прозвали немым, хотя он и не был немым, а только молчал, как и весь выводок.

Лейтенант пошел договариваться с хиромантом насчет ослика и тут неожиданно получил от него встречное предложение. Лейтенанту оно показалось дельным, и он согласился.

Оказывается, пещера хироманта через один из коридоров узким лазом соединялась с верхней пещерой, о чем никто, кроме него, не знал. Вернее, и он не знал, да один из его волчат рассказал ему об этом. И именно тот, что все время торчал поблизости от бойцов истребительного батальона, — не то пас ослика, не то слушал, о чем они говорят, покамест бойцы не перестали на него обращать внимание, приняв его за глухонемого, не понимающего по-абхазски.

Оказывается, он давно обнаружил этот лаз и использовал его для своих надобностей. Он сознался, что лаз ведет в самую глубину верхней пещеры, где протекает подземный ручей.

План хироманта был прост и разумен: проникнуть в глубину верхней пещеры, перекрыть ручей, вернуться назад и ждать, пока вода поднимется до уровня верхней пло-

щадки и немцы всплывут вместе с ней. А если у них в голове еще что-нибудь кумекает, то они сдадутся гораздо раньше.

Чтобы избежать возможной провокации, лейтенант пустил на это дело самого хироманта, на что тот не очень охотно согласился, думая ограничиться подачей идеи. Но все же пошел.

Ждали его обратно около трех часов и уже было заподозрили, что он там столкнулся с немцами и, может быть, захочет вывести их через свою пещеру, так что лейтенант с двумя бойцами спустился в нижнюю пещеру и стерег выход из лаза, освещая его электрическим фонариком.

Говорят, когда хиромант выполз из дыры, весь измазанный мокрой глиной, лейтенант не стал его тормозить, а дал выйти из пещеры на свет божий. Хиромант постоял возле своей пещеры, утирая одной рукой мокрую бороду и сослепу поводя головой. Говорят, он так с минуту постоял, окруженный бойцами истребительного батальона и собственным многочисленным выводком во главе с тринадцатилетним рыжиком, который молча, как и все, дождался отца, постругивая палочку сапожным ножом.

— Змееныш! — неожиданно закричал хиромант и, с безумным проворством подхватив полено, валявшееся у ног, ринулся за одним из своих волчат, а именно за тем, который рассказывал ему про лаз.

Тот молча побежал от отца, и теперь было видно, что и отец поводил головой, готовясь к прыжку, и рыжик, хоть и не сдвинулся с места до того, как отец ринулся на него, но ждал этого и был готов.

Очевидцы говорили, что их никогда не охватывала такая жуть, как в эти минуты, когда хиромант бежал за сыном по лужайке, карабкался за ним по склону над пещерой, пытался его достать, когда тот пробежал мимо остальных рыжеголовых, молча, одними глазами следивших за происходящим.

Жуть эта подымалась, как они позже сообразили, даже не столько от вида разъяренного, измазанного глиной рыжебородого, с поленом в руке догоняющего сына, и даже не оттого, что оба они при этом молчали, и только слышалось, как с присвистом и клокотаньем дышит отец, а маленький покряхтывает и злобно оглядывается, ни на мгновение не сдаваясь, а только стараясь соразмерить расстояние и сохранить силы. Она, эта жуть, исходила от остальных

ных волчат, от всей этой молчаливой стаи, в которой одни жевали свою жвачку, а другие просто зыркали глазами, самый старший, так тот и вовсе, кажется, не смотрел, а только постругивал свою палочку и помалкивал, как и все.

И вдруг, когда отец пробежал мимо него (значит, все-таки следил!), он неожиданно бросился ему под ноги, и тот, перекувыркнувшись через него, полетел на землю и выпустил из рук полено.

А этот встал как ни в чем не бывало и, даже не отряхнувшись, снова принялся за свою палочку и только подалее отпихнул ногой полено.

Как только хиромант рухнул, волчонок, что бежал от него, говорят, остановился и даже приблизился на несколько шагов, а именно те, которые успел пробежать по инерции, и, тяжело дыша, злобно продолжал смотреть на него, как бы предлагая продолжить всю эту игру, если у него хватит пороха. Хиромант в это время катался по лужайке, кусая траву и стараясь врыться головой в землю.

Тут лейтенант подбежал к нему и, опустившись на колени, стал нежно гладить его по спине, приговаривая:

— Чудак человек, сначала доложи, а потом наказывай!

Как выяснилось потом, ярость хироманта была вызвана тем, что он у ручья на дне верхней пещеры обнаружил следы от костра и целый кощеев холм куриных костей.

Успокоившись, хиромант доложил, что хорошо заделал выход подземного ручья и теперь немцам капут, только надо подождать, чтобы вода поднялась.

Вода подымалась медленно, если она вообще подымалась, так что ждать пришлось до следующего утра. А в первые часы было много сомнений насчет того, что хиромант сумел как следует заделать выход подземного ручья. К тому же вода могла просочиться и в других местах.

Ночью один из бойцов истребительного батальона, сидевший вместе с другими у замаскированного плащ-палаткой костра, вдруг догадался, что можно проверить, подымается ли вода в пещере, забрасывая туда камни. Бойцы обрадовались этому открытию и стали собирать камни и забрасывать их в пещеру. В самом деле, говорят, выбранные крестьяне оказались ловчее самого лейтенанта. Кидать надо было так, чтобы камень, не задевая свода пещеры, имел достаточно высокую траекторию, чтобы, минуя площадку, проваливаться за обрыв.

И вот, говорят, туча этих самых камней чуть ли не всю ночь летела в пещеру, и после падения некоторых из них иногда казалось, что слышится чмокающий звук, а иногда ничего не казалось. Один раз они слышали не то ругань, не то стон одного из немцев, в которого, видно, попал камень. Тут бойцы истребительного батальона дружно зааплодировали, но, разумеется, не тому, что в немца попал камень, они в него и не целились, а тому, что немцы или хотя бы один из них жив и подает голос.

Неизвестно, чем бы кончилось это швырянье камнями, может, они дошвырялись бы до того, что просто захоронили бы немцев в этих камнях или даже искусственно подняли бы уровень воды в запруженном ручье, если бы среди ночи не появился взволнованный хиромант.

Он сказал, что из лаза полилась вода, что она залила огонь под самогонным аппаратом и что ему едва удалось предотвратить взрыв котла. Но теперь все в порядке, добавил он, так что вода в пещере будет подниматься еще быстрее.

— Я ему заткнул глотку, — уверил он лейтенанта напоследок.

— И успел промочить свою, — ответил ему лейтенант с упреком и послал бойцов проверить состояние лаза.

Все оказалось правдой, а на рассвете наконец из пещеры полилась вода. Сначала она стекала вниз по камням, как первач по соломинке, а потом пошла ручьем. Первая струя была встречена громом аплодисментов и свадебной песней бойцов истребительного батальона.

Потом один из бойцов отделился от остальных и подошел к ручью. Он снял винтовку, осторожно прислонил ее к одному из больших камней, между которыми пробежал новоявленный ручей, снял кружку с пояса, ополоснул ее, набрал воды, сказав несколько непонятных слов, стал медленно пить.

Лейтенант очень удивился всей этой процедуре, и когда спросил, что все это означает, один из бойцов истребительного батальона, лучше других говоривший по-русски, улыбаясь его наивности, объяснил, что это он пьет кровь побежденного врага, что раз уж он выпил эту кровь, немцам ничего не остается, как сложить оружие.

Лейтенант махнул рукой и послал человека в учреждение за переводчиком. Боец истребительного батальона все

еще дегустировал символическую кровь врага, а остальные внимательно следили за ним, когда неизвестно откуда выползший один из рыжих волчат стащил его винтовку и поволок ее вверх по склону.

Он уже метров пятьдесят прокарабкался, когда, неспешно допив кровь врага, боец истребительного батальона стал озиаться в поисках своего оружия.

— Сдается мне, — сказал ему один из бойцов, кивая на гору, — что этот глухой с твоей винтовкой карабкается...

— Хайт! Его глухую мать! — вскричал оскорбленный дегустатор крови и с быстротой оленя помчался вверх. Он бежал, сверкая своей кружкой, которую то ли по забывчивости, то ли решив, что в этих гиблых местах вообще ничего нельзя оставлять без присмотра, захватил с собой. Бойцы истребительного батальона заулюлюкали, засвистели, и было непонятно, своего товарища они взбадривают или рыжика. Скорее всего, и того и другого. Бегать от абхаза по горам — бесполезное дело, тем более рыжик карабкался под тяжестью винтовки, а боец был налегке, если не считать его кружки.

Расстояние быстро сокращалось, но, видно, гнев бойца переливался через край, потому что он метров за десять от рыжика не удержался и швырнул в него кружкой. Кружка просверкнула мимо, но рыжик выпустил добычу и уже дальше помчался налегке.

Боец, добравшись до винтовки, не стал его преследовать, а помчался за своей кружкой, которая, звякая и подпрыгивая по каменистому склону, покатила в обратном направлении, что и спасло рыжика от хорошей взбучки. Кстати, кружку свою этот злосчастный боец так и не смог поймать, хоть и мчался за ней до самой полянки. Говорят, на каждый отскок ее от крутого каменистого склона он, продолжая бежать, отвечал угрозами обесчестить эти самые камни, не смущаясь ни их суровыми формами, ни их почтенным геологическим возрастом. Надо сказать, что по части подобных выражений, абхазский язык, пожалуй, побогаче русского (тоже небедный!), хотя и значительно уступает турецкому.

Короче говоря, кружка эта, может, ошалевшая от своего символического употребления, даже пыталась перепрыгнуть полянку, на которой стояли остальные бойцы, но тут один из них изловчился и сбил ее своей шапкой.

Хозяин, наконец добравшись до нее, снова принялся пить воду, но уже не придавая этому никакого символического значения, а главное, не выпуская из левой руки спасенную винтовку. Говорят, он выпил несколько кружек и, каждый раз зачерпнув из ручья, внимательно следил, не протекает ли, бормоча при этом:

— Моя бедная.. цинковая.. чуть не загробил, новехонькую..

Напившись, он камнем выправил ее помятые бока и, окончательно успокоившись, привязал к своему поясу. А волчонок, что пытался похитить ружье, уселся на самой вершине горы и сидел там до тех пор, сияя рыжей головенкой, пока бойцы вместе с немцами не покинули горы.

Вновь появился толмач со своей трубой, теперь уже аккуратно залатанной новыми железными латками, что почему-то язвительно отметили бойцы истребительного батальона. К тому же они стали подшучивать над своим товарищем, заметив его нежную привязанность к своей кружке, говоря, что нечего ему было так бояться за свою кружку, что в случае чего толмач привел бы ее в порядок, вон как свою трубу залатал.

— Так я ему и доверил ее, — отвечал боец, пошлепывая по кружке ладонью, — я с нею три года пропастишил, а тут пришел в город — и на тебе.

Лейтенант снова стал торопить толмача, он боялся, как бы немцы не утонули. Толмач снова стал кричать в свою трубу, чтобы немцы сдавались по-хорошему.

И тут из пещеры наконец раздался хриплый голос. Лейтенант и все бойцы очень обрадовались этому голосу. Лейтенант радостно приказал немцам, чтобы они плыли к выходу. Толмач передал приказ, и из пещеры снова раздался голос:

— Он говорит, что они не умеют плавать, — не вполне уверенно перевел толмач.

— Тогда как же они держатся? — удивился лейтенант.

Толмач перевел его удивление. Теперь немцы охотно переговаривались и даже продолжали что-то говорить, пока толмач оборачивался к лейтенанту.

— Он говорит, что они держатся на пробковых поясах, — перевел толмач, — потому что летают из Румынии.

— Ах, из Румынии? — удивился лейтенант и приказал, чтобы немцы отдавались течению, что оно их как раз

и вытянет к выходу. Но тут немец, тот, что переговаривался, прохрипел, что они отдаваться течению не намерены, что они, наоборот, держатся за сталактит и будут держаться, хотя у них вышли из строя электрические обогреватели.

— А почему второй молчит? — вдруг спросил лейтенант. По мнению некоторых позднейших комментаторов, этот вопрос был связан с тем, что он хотел сыграть на возможных противоречиях между осажденными немцами. Может, так оно и было, а может, он просто хотел узнать, жив ли второй немец.

— Он говорит, что его товарищ потерял голос, — перевел толмач.

— Скажи им, чтоб скорее сдавались, — заторопил его лейтенант, — а то и этот совсем осипнет... На черта нам сдались безголосые «языки»...

Толмач приник к своей трубе, но тут, говорят, лейтенант его остановил и сказал, чтобы про безголосые «языки» он немцам не переводил.

— Что я, первый раз, что ли?! — ответил толмач обиженно, хотя обижаться было не на что, тем более что он и в самом деле первый раз работал с немцами. Об этом в городе знали точно, а пленных вообще тогда еще не было в наших краях.

На этот раз он долго переговаривался с немцами и даже спорил с тем из них, кто все еще мог отвечать, а лейтенант все порывался узнать, что они говорят, но толмач отмахивался от него и никак не мог оторваться от своей залатанной трубы.

Возможно, он не все понимал, учитывая, что немец довольно сильно хрипел и у него не было даже такого латаного-перелатаного рупора, если не считать самой пещеры, которая до того гулко резонировала и гремела немецким эхом, что в иные мгновенья казалось — уж не расплодились ли они там в нашей животворной воде?

Одним словом, он до того долго с ними переговаривался, что, когда перевел смысл разговора, бойцы истребительного батальона остались недовольны, ворча, что такой долгий разговор можно было перевести и подлинней. Как-то им не пришелся по вкусу этот толмач, вот они и придирались к нему.

— Он говорит, — перевел толмач, — что немецкие летчики могут продержаться в черноморской воде тридцать

часов и что, хотя вода в пещере гораздо холодней, они будут держаться оставшиеся два часа с оружием в руках.

— Вот суки! — восхитился лейтенант психикой немцев, еще не сломленной Сталинградом, и велел ждать.

К этому времени весь поселок и все живущие под горой собрались у пещеры, и, конечно, не обошлось без Богатого Портного. С начала осады немцев он каждый день, прихрамывая, навевался сюда. Уже в первый день он пришел сюда с ковриком и с нардами. За это время он много чего здесь наговорил, но в памяти очевидцев остались два его изречения.

— Тот человек счастливый, — сказал он, расставляя фишки для новой партии в нарды и внезапно останавливаясь, словно прислушиваясь к грохоту далекой канонады, — тот человек счастливый, что сейчас на фронте в самом пекле находится...

В этом его не слишком ясном изречении было понятно только одно, что ему хочется на фронт, но, увы, больная нога не пускает. После своего ишиаса, полученного в часы ночных бдений в саду, он и раньше прихрамывал с оттенком участника гражданской войны. Теперь он вовсе захромал уже без всяких оттенков, жалуясь при случае, что у него в колене нашли гнилую воду.

В этот день он предложил лейтенанту прорыть гору над пещерой и выйти немцам в тыл. (Но это еще не второе его изречение, тем более что лейтенант его не послушался).

— Вот и рой, — холодно ответил ему лейтенант.

Ровно через два часа лейтенант, взяв с собой троих добровольцев, отправился в пещеру. Он разъяснил бойцам, что враг хотя измотан, но продолжает оставаться коварным, поэтому надо быть начеку, но стрелять только в самом крайнем случае.

Сзади на некотором расстоянии шел переводчик, слегка прикрываясь рупором, хотя уже было достаточно ясно, что немецкая пуля его пробивает. Один из бойцов, проявив военную хитрость, привязал электрический фонарик к дулу своей винтовки и, оттянув ее подальше от себя и своих товарищей, освещал дорогу, чтобы запутать немцев, если они проявят вероломство. Но немцы стрелять не стали.

Трое бойцов вместе с лейтенантом и догнавшим их переводчиком, хлюпая по воде, подошли к краю огромного

озера. В середине озера торчала вершина сталактита, которую, стараясь пистолеты держать повыше, в обнимку сжимали летчики. Лейтенант включил и свой фонарик, так что оба немца теперь беспомощно помаргивали белесыми глазами в прожекторном перекрещении двух световых лучей.

Толмач опять попытался говорить в рупор, но тут уж лейтенант не выдержал и, выхватив у него трубу, бросил ее в воду, и сразу же всем, может быть, даже включая немцев, стало ясно, до чего эта труба надоела лейтенанту и какую железную выдержку проявил он, смиряясь с ее необходимостью.

— Говори так, — сказал он ему, кивая на сравнительно небольшое расстояние от сталактита до берега.

— Хорошо, — ответил толмач, тоже проявив немалую выдержку, — но за то, что ты это сделал при немцах, ответишь.

— А немцы и не видели, — вступился один из бойцов за своего лейтенанта, имея в виду, что немцы их фонарями не освещали, а, наоборот, они немцев освещали.

— Там выяснят, — ответил толмач мимоходом, продолжая слушать немцев, отчего его угроза прозвучала еще убедительней.

Боец хотел было войти в воду и достать рупор, тем более, что упал он недалеко, но тут опять произошло замешательство, потому что немцы к берегу плыть отказались. Они сказали (говорил-то все еще один из них), что сами в плен не сдаются, но, если их возьмут в плен, они не отказываются. Тогда лейтенант приказал бросить сталактит, потому что будет рассматривать это как сопротивление. Тут немцы, говорят, переглянулись и в самом деле бросили сталактит, после чего они еще некоторое время с дурацким выражением нейтралитета покружились на поверхности озера, и, когда приблизились на расстояние вытянутой винтовки, их окончательно подогнали к берегу.

Поразительно, что, выходя из воды, один из них успел вытащить рупор и подать его именно толмачу, из чего неминуемо следовало, что столкновение лейтенанта с переводчиком не осталось незамеченным. Беря рупор, толмач кивнул головой, как бы злорадно намекая на это обстоятельство.

Вытащив из оцепеневших пальцев пленных пистолеты, их выволокли на солнце. К великому удивлению всех лю-

дей, надо полагать, всех, кроме хироманта и его выводка, мокрые немцы оказались облепленными каким-то пухом и перьями, словно это были не подбитые летчики, а Дедал и Икар после неудачного полета.

Немного отдышавшись, тот из немцев, у которого оставался кое-какой голосишко, что-то стал говорить переводчику, показывая на голову своего онемевшего товарища, из чего жители поселка сделали чересчур поспешный вывод, что второй немец сошел с ума.

— Притворяется! — крикнул Богатый Портной, но тут переводчик доложил, что немец намекает на камни, которые ночью бросали в пещеру.

— Он говорит, что будут жаловаться на нечестное ведение боя, — перевел толмач, продолжая мстить за свой рупор. Но лейтенант не растерялся.

— А кто мирный договор нарушил? — спросил он в упор.

На это немец не нашелся что ответить и неожиданно принялся чихать, а через секунду к нему присоединился и второй пленный. Тут бойцы да и сам лейтенант обрадовались, что у второго немца хоть таким образом прорезался голос. И тогда все поняли, что немец онемел не от камня, а от простуды, в чем сам же виноват. Тут один из бойцов истребительного батальона привел, имея в виду этого невезучего немца, абхазскую пословицу, гласящую, что мол, упавшего с дерева укусила змея.

Бойцы истребительного батальона посмеялись удачно приведенной пословице, и тогда тот, кто ее вовремя вспомнил, попросил переводчика перевести ее на немецкий язык для пострадавшего немца.

Говорят, переводчик довольно долго переводил эту пословицу на немецкий язык, а немец продолжал чихать, глядя на него непонимающими глазами, может быть, решив, что уже начался допрос.

Пока переводчик, поднатужившись, старался довести до сознания пленного немца смысл пословицы, указывая для наглядности на его голову, бойцы истребительного батальона рассказывали окружающим представителям других наций, как сжат и точен абхазский язык, если переводчику так долго приходится переводить эту пословицу. Представители других наций сдержанно соглашались, намекая, что и в их языках тоже есть немало хорошего.

Перевод пословицы, видно, как-то не дошел до сознания немцев, потому что тот, что пострадал от камня, неожиданно энергично замотал головой и что-то просипел, как бы в корне не соглашаясь с пословицей, что выглядело не вполне прилично со стороны пленного. Но тут второй немец разъяснил, что его товарищ, когда парашют зацепился за дерево, не упал с него, а спрыгнул, потому что там было невысоко.

Но тут вмешался лейтенант и велел оставить немцев в покое, оберегая их умственные усилия для более важных дел. Но немцев не оставили в покое, потому что к ним протиснулся Богатый Портной и сказал, обращаясь к переводчику:

— Переведи слова Александра Невского: «Кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет!»

Это было второе его изречение, надолго запомнившееся местным жителям.

— Для чего? — спросил переводчик и без того утомленный предыдущей пословицей.

— Интересно, что они скажут, — сказал Богатый Портной.

Но тут лейтенант опять отстранил Богатого Портного, да и непохоже было, чтобы немцы могли что-нибудь отвечать, потому что они как принялись чихать, так и продолжали, почти не переставая.

И потом, когда их вели к машине и в самой машине, они продолжали чихать, и даже когда приехали в НКВД, никак не унимались. Да и позже, в кабинете самого полковника, рассказывают жители нашего города, немцы продолжали почихивать, хотя и не столь безудержно, но и без особых признаков затухания.

А все тот же толмач, рассказывают старожилы, хотя непонятно, откуда они все это видели или тем более слышали, стоял рядом с ними весьма удрученный, но уже не тем, что нельзя пользоваться рупором, а тем, что вот полковник все ждет, постукивая пальцами по столу, а ему и переводить нечего, кроме этого чихания.

Но тут, говорят, полковник перестал постукивать пальцами, а надо полагать, потеряв терпение, двинул всем кулаком по столу и сказал несколько русских слов, которые в переводе могли прозвучать как строгое напоминание о том, что они находятся не в поликлинике, а совсем

в другом месте. И тут, говорят всезнающие старожилы, немцы перестали чихать и притихли, перед тем как заговорить.

В тот же день в пещеру был вызван водолаз, потому что вода начала заливать жителей, живущих у подножия горы, и он, открыв завал, устроенный хиромантом, спустил воду. Вот так хироманта за его полезную находчивость оставили в нижней сталактитовой пещере, хотя сам лаз у выхода в верхнюю сталактитовую пещеру на всякий случай заделали железной решеткой.

Подбитый немецкий самолет, это был «юнкерс», выволокли на буйволах из ущелья, где он застрял, привезли в город и поставили в парке, сохранив его ужасный вид для наглядного примера того, что ждет всю германскую военную машину, а не только ее отдельные самолеты. Там он стоял в неприглядном виде до самого конца войны и даже дольше.

Должен сказать, что события этого бурного года я отчасти восстанавливаю со слов очевидцев, так что кое-где возможны некоторые преувеличения, впрочем, незначительные.

Дело в том, что как только появилась опасность попасть под бомбежку, мама решила тактически более правильным (экономически тоже) переехать в деревню, что мы и сделали.

Когда мы вернулись из деревни, события на фронте изменились в нашу пользу, и в городе было полным-полно пленных немцев. Они работали в основном на строительстве разрушенных бомбежкой домов, что было вполне справедливо и поучительно. Кстати, заодно они восстановили и привели в порядок наш театр, сгоревший из-за халатности неизвестного лица.

Среди пленных находились и двое этих летчиков, и, когда колонна проходила по улице, они обычно стояли рядом. С бодрыми песнями, лихо щелкая деревянными босоножками, они проходили по улицам города.

Я часто замечал, когда они проходили мимо парка, каким странным взглядом эти двое смотрели на свой самолет. Но если они даже не смотрели туда, наши старожилы, которым случалось стоять поблизости, рукой показывали им на парк в том смысле, что во-он ваш самолет еще стоит, на что эти двое, а иногда и остальные пленные вежливо кивали головой, давая знать, что этот факт им известен.

Во взгляде старожиллов на этих двух летчиков, как, впрочем, и во взгляде летчиков на свой бывший самолет, было много скрытого юмора. Старожиллы своими взглядами и кивками в сторону летчиков как бы напоминали им, что они, эти летчики, личная лепта нашего города в общей победе над немцами и что поэтому им, летчикам, не стоит слишком затериваться в толпе пленных.

«Ладно, не затеряемся», — как бы отвечали летчики своим суховатым кивком. Возможно, им надоедали эти бесконечные напоминания.

Во взгляде летчиков на свой самолет тоже было немало смешного. Теперь, осовременивая впечатление от этого взгляда, но не меняя его сути, я бы осмелился привести такой образ. Так мог бы смотреть посетитель ночного кабаре на танцовщицу этого кабаре, в которой вдруг узнал свою бывшую жену. В качестве бывшего мужа он как бы оскорблен этой встречей и в то же время показывает взглядом, что никакой ответственности не несет за ее теперешнее поведение.

Но вернемся к нашему хироманту. После войны, когда в наших краях стало появляться довольно много туристов, он сам себя назначил проводником в эту теперь уже знаменитую пещеру. В разгар сезона он обычно сидел у входа в пещеру в одних трусах, иногда измазанный пещерной глиной, якобы удерживающей организм от старения.

— Войдешь старичком, выйдешь бодрячком! — говорил он, подмигивая и кивая на рыжую команду, если она околывалась рядом.

Туристы, как правило, клевали на его призыв, и тогда он им предлагал раздеться, раздавал свечи собственного изготовления и, оставив одежду под присмотром кого-нибудь из рыжиков, отправлялся в путь. По дороге он успевал себе выбрать, как бы шутливо, интеллигентную фаворитку в купальном костюме.

В пещере он обычно рассказывал историю поимки немецких летчиков и показывал на сталактит, за который они держались, когда их стала поднимать вода. Высоко подняв свечи, туристы вглядывались в вершину сталактита, стараясь разглядеть на ней следы пребывания немецких летчиков, хотя никаких следов там не было.

Когда группа доходила до места, где имелись небольшие, по его уверениям, запасы целебной глины, он пред-

лагал всем натереться этой глиной, а фаворитку натирал сам.

В глубине пещеры у самого ручья был очень крутой, метров на десять, глинистый (по-моему, такой же целебный) обрыв, раскатанный неугомонными задами его рыжих волчат. Обрыв этот можно было обойти, но хиромант всегда приводил туристов к этому месту.

Обычно, подходя к этому месту, он отбирал у них свечи, часть из них гасил, а одну или две, придавив к ближайшим сталактитам, оставлял гореть. После этого он пропускал вперед ничего не подозревающих туристов, а сам, придерживая за руку свою избранницу, оставался сзади.

Туристы один за другим с предсмертным воплем летели в бездну и тут же бултыхались в довольно глубокий бочаг, служивший вполне безопасным тормозящим устройством.

Каждый раз после того, как кто-нибудь летел вниз, сверху раздавался демонический хохот хироманта. Проводив всех в бездну, он вместе с дрожащей фавориткой обрушивался вниз, на лету издавая радостный вопль.

— Афинские ночи!

Это была его любимая шутка, которая ему никогда не надоедала. Многие туристы говорили, что после выхода из пещеры они ощущают исключительный прилив физических и духовных сил, который объясняли немедленным воздействием целебной глины.

Я сам неоднократно обрушивался в эту бездну, и, надо сказать, что радость по поводу того, что остался жив, надолго перекрывала несколько мгновений ужаса, испытанных во время падения.

Гадать он, кстати, предлагал после выхода из пещеры, уже дружелюбно и весело настроенным туристам. Если гадание проходило успешно, он в виде особой любезности предлагал им купить пещерный жемчуг, маленькие, с горошину, желтоватые камушки, которые, по-моему, он сам же обтачивал.

Если же туристы, проходившие по этим местам, отказывались гадать, покупать свечи, вымазаться целебной глиной, поверить в естественное происхождение пещерного жемчуга и вообще никак не давали себя загнать в пещеру, хиромант мрачно кивал головой и говорил:

— Ничего, идите, идите...

С несколько подпорченным настроением туристы шли дальше, и ничего особенного с ними не случилось. Разве что, если в компании не было достаточно решительных мужчин, их догонял рыжий выводок и отбирал бутерброды и банки со сгущенным молоком.

После войны хиромант перестал ездить по дворам и гадать. То ли люди стали плохо верить в хиромантию, то ли ему это запретили в связи с внесением большей четкости в идеологическую работу, остается неизвестным.

Где-то в конце сороковых годов он исчез вместе с осликом и всем своим многочисленным выводком. О его дальнейшей судьбе я лично ничего не знаю. Все же в памяти старожилов нашего города (напоминаю, что речь идет о городе Мухусе, а не каком-нибудь другом, чтобы не было потом путаницы, обид, жалоб), так вот, в памяти старожиллов нашего города он оставил довольно яркий след, его и сейчас хорошо помнят.

## Письмо

В пятнадцать лет я получил в письме пламенное признание в любви. У меня до сих пор сохранилось впечатление, что вспыхнувшие при чтении слова признания были написаны золотом, а не обыкновенными химическими чернилами.

За минуту до того, как почтальонша вручила мне это письмо, я с обрывком электрического провода сбегал по лестнице нашего двухэтажного дома. Задача состояла в том, чтобы дотерпеть до конца лестницы бьющую сквозь тело таинственную силу тока. Притрагиваясь жикающим концом провода к металлическим перилам лестницы, я изо всех сил бежал вниз, разбрызгивая фиолетовые искры.

Ночью была гроза, во время которой оборвался этот провод. По-видимому, главную смертоносную часть тока приняла на себя крыша нашего дома, остатками электричества забавлялся я.

Была весна. Витиеватые балясины перил были опутаны еще более витиеватыми лозами цветущей глицинии. Каскады тяжелых кистей свисали с наружной стороны лестницы. Они были такими же фиолетовыми, как электрические искры, вспыхивавшие под моей рукой.

Где-то возле середины первого лестничного марша начиналась площадка, ведущая в коммунальную уборную.

Жители двора время от времени пробегали туда, и как только они притрагивались к перилам, я подключал к ним ток. Обычно при этом они вскрикивали или, молча, в диком прыжке переносились на площадку, однако, при всех разновидностях восприятия, маршрута никто не менял.

Все еще держа в руке провод, я прочел письмо. Сразу же почувствовав, что игра эта теперь не нужна, что ей пришел конец, и, видимо, навсегда, я бросил провод и вбежал в дом.

Хотя письмо не было подписано, я мгновенно догадался, кто его написал. Это была девочка, с которой два года назад мы учились в одном классе. Два года назад нас развели, разделив школы на мужские и женские по примеру

классических гимназий. С тех пор я ее ни разу не видел и не вспоминал. В школьном журнале мы стояли рядом. Мало того, что мы стояли рядом, — у нас совпадали инициалы. Такое совпадение не могло остаться незамеченным. Еще тогда мы оба чувствовали его неслучайность. И вот наконец письмо.

Золотящиеся буквы вспыхивали и шевелились на бумаге. Я перечел письмо несколько раз, благодарно влюбился в автора и, тут же изорвав его на мелкие кусочки, выбросил в мусорный ящик.

Моими действиями двигал могучий патриархальный стыд и неосознанная логика начинающего социалиста. Ход ее я сейчас мог бы расшифровать примерно так: письмо, полученное мною, — это счастье, а счастливым быть стыдно, как стыдно быть сытым среди голодных. Ну, а так как от счастья отказаться трудно (тактика!), надо его законспирировать, то есть держать в голове, уничтожив все материальные улики.

Теперь я бродил по улицам в надежде где-нибудь ее случайно встретить. Я довольно смутно представлял, что надо делать при встрече. Ну, во-первых, думал я, надо, конечно, подойти, а потом уж, как только представится случай, предложить ей свое сердце и жизнь, разумеется, до самой гробовой доски.

Нельзя сказать, чтобы я очень спешил со встречей. Как и для всякого начинающего социалиста, главное для меня была программа, а она с гениальной ясностью была намечена в ее послании. Для всего остального отводилась целая жизнь, а в пятнадцать лет она бывает до того огромной, что, сколько ее ни трать, все ее девать некуда, все она переливается через край.

И вот однажды, когда я вместе со своими товарищами стоял на главной улице нашего города, а точнее, на улице Генералиссимуса, она вместе с двумя подружками прошла мимо нас.

Я успел заметить вдохновенную бледность ее вспыхнувшей щеки, быструю походку и тончайшую фигуру. За эти два года она из девочки превратилась в девушку, ухитрившись остаться такой же тонкой, как и была в том роковом для нашего совместного обучения классе.

Одним словом, был налицо тот источник бледно-розового сияния, необходимый для первого чувства мальчика моих лет.

А хитрость природы в данном случае состоит в том, что каждый мальчик, проходящий сквозь эту стадию, или, вернее даже сказать, получающий эту прививку, инъекцию любовной лихорадки, воспринимает это сиянье как особую милость его личной судьбы, угадавшей потребности его нежной души и однажды с исключительным тактом или даже со вкусом японского садовода соединившей в одной девушке редкие свойства его хрупкого и капризного идеала.

Увидев ее зардевшуюся щеку, я окончательно уверился в своей догадке и почувствовал, что подойти к ней будет не так-то просто. Хотя мы успели окинуть друг друга только одним быстрым взглядом, как-то сразу в одно мгновение было решено, что неудобно теперь, через два года, узнать друг друга и поздороваться, тем более, что между нами уже пролегла тайна письма.

— Нет, нет! — крикнула она мне этим мгновенным взглядом, только не сейчас, не здесь, потому что, если ты сейчас со мной здороваешься, это будет означать, что ты своим друзьям все рассказал о моем письме, и я умру от стыда.

Теперь я ее стал встречать все чаще и чаще. Иногда она была со старшей сестрой, иногда в большой компании подружек и каких-то незнакомых мне ребят, и я чувствовал, что с каждым разом подойти к ней становится все трудней и трудней.

Кстати, сестра ее тоже училась с нами в одном классе, хотя и была старше ее на год или два. Не помню, как очутилась она с нами в одном классе, думаю, не от избытка любви к учебе. Для полной последовательности я и с сестрой не стал здороваться, чего она, кажется, не замечала. Вообще она была какая-то сонная девушка, и, хотя на вид, пожалуй, была привлекательней своей младшей сестры со своими тяжелыми нежными веками, чистым лицом и яркими губами, все-таки чувствовалось, что ребят привлекает именно младшая. Потому что от нее, младшей, исходило то беспокойство, то нетерпеливое ожидание праздника жизни, которое заражает окружающих.

Одним словом, подойти становилось все трудней и трудней.

Я ждал романтического случая и, вообще говоря, не спешил знакомиться, ибо, как думал я, спешить было не-

куда, раз и так вся жизнь теперь посвящена ей и только ей.

А между тем рядом с ней вместе с другими мальчиками и девушками стал появляться некий военный, капитан по званию, как мне охотно разъяснили мои друзья.

И теперь я заметил, что возлюбленная моя при встрече со мной, если рядом с ней бывал капитан, как-то смущалась и опускала голову. Это ее смущение я воспринимал как бесконечно трогательное доказательство ее любви, приятно льстящее моему самолюбию, но, пожалуй, чересчур сильное.

И теперь, посылая многозначительные взоры, я старался ей внушить, чтобы она не слишком смущалась из-за своего капитана, что мы-то с ней знаем, какая великая тайна нас объединяет, что он-то, бедняжка, такого письма не получал и, судя по преклонному возрасту, теперь навряд ли когда-нибудь получит.

Капитан был парнем лет двадцати семи — возраст, который тогда казался мне для любви безнадежно запоздалым. Пожалуй, настолько преклонным, что при случае можно было, почтительно приподняв и тряхнув ладонью медали на его груди, спросить:

Скажи-ка, дядя, ведь недаром  
Москва, спаленная пожаром,  
Французу отдана?

Возможно, моя тайная возлюбленная правильно оценила мои взоры, потому что со временем при встречах, если рядом с ней бывал капитан, она почти не смущалась, а как-то изгибала губы в намеке на улыбку, которую я легко объяснял вынужденным лукавством. Каково ей, бедняжке, думал я, любить одного и терпеть ухаживания другого.

Так, в состоянии блаженного слабоумия, время от времени сопровождая свою возлюбленную, как незримая тень, я дожил до середины лета, когда она вместе с сестрой и капитаном стала посещать танцы в городском парке.

В парке под влиянием музыки чувство мое, кажется, стало замутняться горечью.

Под трофейную и отечественную музыку шаркала послевоенная танцплощадка. В толпе танцующих мелькало ее бледное, вопросительно приподнятое на капитана личико. Он, высокий, статный парень, глядел на нее сверху вниз

добродушно и, черт подери, кажется, с оскорбляющей меня едва заметной снисходительностью.

Трудно что-нибудь представить кошмарней танцплощадки тех лет. Вот она перед моими глазами — со стареющими девицами, годами кружащимися на этом асфальтовом пятачке, и, казалось, с годами, с каждым танцем что-то женское, человеческое выплескивалось и выплескивалось из них, пока не выработалась эта профессиональная маска с голодными провалами глаз. А эти наглые сосунки, а эти престарелые уголовники, занявшиеся теперь более мирными ремеслами, но приходящие сюда для сентиментальных воспоминаний, и, наконец, неизменный первый танцор, работающий, как водонос, делающий знаменитое в те годы па с боковой побужкой и закатыванием глаз в парикмахерском забытии!

Внезапно где-нибудь на краю площадки, а то и в середине возникал маленький водоворот драки, постепенно вовлекающий в свою воронку все большее и большее количество людей, со свистом, с криками, с бегущими во все стороны девушками.

Стыд перед всем этим убожеством, страх за свою возлюбленную, да и за себя страх. Беспокойство и вместе с тем ярмарочное любопытство к драке и крови, и вместе с тем постоянное ощущение униженности от этой чрезмерной дозы грубости во всем, что здесь происходит, и вместе с тем необходимость скрывать эту отягченность, кривить губы улыбкой свойского парня, знающего больше, чем говорит, и все же говорящего больше, чем стоят окружающие.

А главное, уж слишком позорная цена, которая незримо назначается твоей личности, как только тыходишь сюда. Уж казалось, ты и сам предельно снизил стоимость своей личности, а, видно, все-таки недостаточно, и ты слегка ропщешь на это, но тебя никто и слушать не хочет, да и не может, пожалуй, потому, что ропщешь ты все-таки про себя. Но, видно, на лице все-таки отпечатывается какой-то признак недовольства, и по этому признаку тебя в любой момент могут разоблачить как уродца, как от рождения не способного бить скопом одного, цвиркнуть слюной на спину ничего не подозревающего фраера или его девушки и вообще пакостить, пакостить, когда это тебе ничем не угрожает, а иногда даже и под угрозой, но все-таки без угрозы лучше.

Все эти ощущения незримо роились во мне, пока я в течение многих дней любовался ею на танцплощадке. Наконец один из моих друзей прямо-таки швырнул меня к скамейке, на которой она сидела после очередного танца вместе с сестрой и капитаном.

Похохатывая от смущения, я представился и стал объяснять, что я тот самый школьник, с которым она и ее сестра учились два года тому назад во второй школе, ну, той самой, что между стадионом и церковью, хотя каждая из них никак не могла забыть школы, где мы учились, уже по той простой причине, что они еще продолжали там учиться (это нас перевели в другую школу).

Кроме того, я не забыл упомянуть, что в то время, когда мы учились в одном классе, у нас фамилии и имена начинались с одной буквы.

Пока я говорил, она то подымала голову, и личико ее вспыхивало и гасло, а глаза умоляли не делать скандала, то оборачивалась к своему капитану, нежно прикасаясь пальцами к его груди, успокаивая его этой небольшой лаской и одновременно слегка отстраняя от наших воспоминаний.

Я забыл упомянуть, что во время своего монолога, встречаясь с ней глазами, я старался как можно красноречивей показать взглядом, что никогда в жизни, ни при каких обстоятельствах никто, особенно он (следовал романтический выворот глаз в его сторону), не узнает о существовании того великого письма. Да и сам мой сумбурный монолог с подробным объяснением расположения нашей школы имел сверхзадачу внушить капитану, что с тех давних времен между нами никогда не было не только письменной, но даже устной связи.

Надо сказать, что капитан после первых моих слов, уяснив, что я не какой-то там пристава, отнесся ко мне благодушно.

— Костя, — сказал он просто, когда она нас познакомила, и крепко, по-товарищески пожал мне руку.

Через некоторое время он даже ушел танцевать с ее сестрой, и в течение двух-трех танцев их не было с нами.

Какое это было блаженство — опуститься на скамейку рядом с ней, видеть в этой сказочной близости ее милостивый профиль с привздернутым носом, длинной шейкой и вдыхать, вдыхать аромат ее духов, тем более пьянящий,

что я тогда и потом еще долгое время принимал его за натуральный запах ее собственной цветущей юности.

Трое моих друзей несколько раз демонстративно прошли мимо нас. На их замкнутых лицах было написано, что они оскорблены моим счастьем. Встретившись с ними глазами, я посылал им улыбки, какие мог бы посылать на землю человек, внезапно воспаривший в прекрасную, но крайне неустойчивую высь. На эти улыбки они взглядами мне отвечали и взглядами же предлагали слезть с этой дурацкой выси и вместе с ними обсудить случившееся. По-видимому, уговаривая меня подойти к ней, они ожидали более комического эффекта.

Наконец один из них, тот самый, что подтолкнул меня к этой скамейке и, видимо, поэтому чувствующий наибольшую ответственность за мое поведение, подошел к нам, и, несколько чопорно извинившись перед моей девушкой, отвел меня в сторону.

Он был эвакуированным ленинградцем, и мы считали, а он это охотно подтверждал, что в нем сохранился холодный светский лоск потомственного петербуржца. Мы отошли шагов на десять.

— Должен тебе сказать, что ты выглядишь как идот, — сказал он, строго оглядев меня.

Я вспомнил, что именно он подвел меня к ней и все так просто и хорошо получилось, и вдруг, неожиданно для себя и уж, конечно, для него, обнял моего друга. Он с негодованием отстранился и отошел к ребятам. Я смотрел ему вслед. Высокий и худой, он удалялся четким шагом парламентаря.

Мне и в голову не могло прийти шантажировать ее этим письмом, но я считал необходимым теперь, когда мы остались одни, намекнуть, что послание дошло до цели, что великий акт соединения душ произошел во всей своей красоте и бескорыстии.

— Ой, порвите его! — сказала она, услышав про письмо, и нежно притронулась пальцами к моей рубашке. — Я была тогда такая глупая...

— Никогда! — пылко соврал я, вкладывая в это слово всю правду своего состояния.

Я хотел сказать, что чувство, вызванное ее письмом, вечно и теперь уже ничего нельзя изменить, поэтому этот обман казался наиболее наглядной формой правды. Она вздохнула и убрала руку.

Я почему-то победно посмотрел на капитана, который сейчас возвращался к скамейке, держа под руку ее сестру, чего я еще, кстати говоря, не умел.

С этого дня мы довольно часто встречались и вместе проводили вечера. Почему-то всегда вчетвером.

Я прекрасно знал, что капитан этот ухаживает за ней, а не за ее сестричкой, но никакой ревности, никакого чувства соперничества не испытывал. Это было невозможно, как невозможно ревновать человека, который присел у костра, где ты сидишь, и протянул к огню руки. А точнее, если уж продолжать сравнение, ты сам пришел из промозглой ночи к этому костру, у которого он уже сидел и даже успел поставить на огонь свой выдавший виды котелок старого вояки, в котором, помешивая ложкой, готовил свою нехитрую любовную похлебку. Так что это он, а не ты, подвинулся, давая тебе место у костра, правда, при этом не переставая помешивать ложкой в котелке. И что с того, что ты раньше его заметил этот костер и даже, вернее, он сам тебя заметил и даже подмигнул тебе издали язычками своего пламени, — сейчас вы оба греетесь возле него, и ничего в этом плохого нет.

Так думал я, принимая временное равновесие сил за гармонию. Рано или поздно соперничество или нечто в этом роде должно было возникнуть. И оно возникло.

Как-то само собой получилось, что во время-наших совместных прогулок все легкие дорожные траты, как-то: выпить воды, съесть мороженое, пройти в парк, а иногда и в кино, — правда, это было очень редко, — капитан сразу же взял на себя.

Первое время, когда я в таких случаях вынимал свой редкий рубль, он и она с такой настойчивостью всучивали мне его назад, что вскоре я перестал обращать на это внимание, ибо ни к чему так быстро не привыкает человек, как к дармовому угощению.

Однажды, когда он угощал нашу общую возлюбленную виноградным соком, а мы с ее сестрой скромно стояли рядом, он кивнул в нашу сторону и сказал:

— Налетайте, Чарли угощает.

Это прозвучало как-то хамовато. Теперь-то я уверең, что он не хотел этой своей шуткой оскорбить или унижить меня, но тогда я почувствовал жгучий стыд и впервые враждебность к этому славному парню.

Самое главное, что я никак не мог отказаться, предчувствуя неумные и громоздкие последствия своего отказа, тем более, что сок уже был разлит по стаканам и, что особенно удивительно, выпить его мне все-таки хотелось, и даже как бы еще сильнее.

А хуже всего было то, что, когда он произнес эту свою шутку богатого гуляки, я заметил, что она улыбнулась в уже пригубленный стакан и улыбнулась довольно язвительно. Это очень неприятно кольнуло меня, и потом я много раз вспоминал эту улыбку, пока, в конце концов, однажды не решил, что, в сущности, никакой улыбки не было, а был эффект прохождения света сквозь стекло и жидкость, придавший ее губам этот предательский излом.

Но самое ужасное, пожалуй, заключалось в том, что мы уже договорились идти в кино, а денег у меня, как назло, не было. Теперь, в создавшихся условиях, идти в кино на его счет я никак не мог. Но и прямо отказаться было как-то неловко, беспричинно, потому что отказавшись, надо было их покинуть, чего мне не хотелось.

Разумеется, и до этого мне иногда приходило в голову, что не стоит пользоваться его денежными услугами, хотя, повторяю, услуги эти были достаточно ничтожны. Но в том легком состоянии эфирного опьянения, в котором я беспрерывно находился с тех пор, как подошел к ним и мы стали встречаться, я как-то привык воспринимать все это как мужское одолжение, мол, сегодня ты угощаешь, а завтра я, хотя это завтра все время откладывалось на непредвидимые времена.

Кроме того, приходил и другой оттенок оценки положения, я его нарочно не додумывал до конца, чувствуя, что он не слишком благородного свойства. Но такая оценка иногда легким контуром вставала перед моим мысленным взором, и умолчать о ней я теперь не вправе. Суть ее состоит в том, что мне казалось, а возможно, начало казаться с некоторых пор, что мы с ней в известной мере делаем одолжение, допуская его в наше общество, за что он расплачивается мелкими материальными услугами.

Конечно, если уж еще дальше продолжать это сравнение с костром, я, разумеется, не ревновал за то, что он присел к моему костру; но, черт подери, я же знал, что горит-то он все-таки для меня, что то самое замечательное письмо, может, и написано было пылающим прутиком, выхваченным из этого костра?!

В том, что такого письма и вообще любовного письма она не могла написать другому, я не только не сомневался, но и вообще был уверен, что, раз в жизни написав такое письмо, человек всю остальную жизнь только и делает, что служит этому письму, хватило бы только сил удержаться на его уровне, а о чем другом и думать немислимо.

И вдруг эта небрежная фраза насчет Чарли, который всех угощает. По дороге между киоском и летним кинотеатром, куда мы шли, я только и думал, как с достоинством увернуться от его новой благотворительности, и никак ничего не мог сообразить.

В те годы в наших кинотеатрах крутили почти все время трофейные фильмы. Как правило, это были оперы или пасторальные истории с бесконечными песенками или неуклюжие ревю с цветущими «гёрлс», широкобедрыми и мясистыми, как голландские коровы, разумеется, если голландские коровы именно такие.

Много лет спустя я пришел к убеждению, что эти трофейные фильмы ничего, кроме вкуса руководителей рейха, не выражали.

Как раз один из таких фильмов нам предстояло посмотреть. Назывался он «Не забывай меня» с жирным и сладкогласым Джильи в главной роли. Как и всякий житель провинциального города, я хотя еще и не видел картины, но уже из рассказов знал о ее содержании. Надо признаться, что голос Джильи мне нравился, особенно если слушать его, не слишком обращая внимания на экран.

Мы приближались к кинотеатру, и я с ужасом чувствовал, что через десять минут на меня обрушится еще одно унижение, которого я не в силах вынести, и стал ругать фильм. Все-таки это было искусство жирных, и мне, чтобы ругать это искусство, да еще в таких условиях, ни пафоса, ни аргументов не надо было занимать.

От этой картины я перешел ко всем трофейным немецким картинам с их слащавой сентиментальностью.

Чем больше я ругал картину, тем упрямей надувались губы моей возлюбленной. Тогда я еще не знал, что останавливать женщину на пути к зрелищу не менее опасно, чем древнеримского люмпена по дороге к Колизею.

Когда я от картины «Не забывай меня» перешел ко всем трофейным немецким фильмам, она вдруг спросила у меня:

— Ты, кажется, изучаешь немецкий?

— Да, а что? — вздрогнул я.

Мне показалось, что она увидела противоречие между моей критикой немецких фильмов и занятиями немецким языком. Но вопрос ее означал совсем другое.

— Поговори с Костей, — предложила она, не подозревая, какого джина выпустила из бутылки, — он два года жил в Германии.

— Шпрехен зи дойч? — взвился я радостно, как если бы был чистокровным немцем и после многолетнего плена у полинезийцев вдруг встретил земляка.

— Натурлих, — как-то уныло подтвердил он, несколько оробев перед моим напором.

Тут меня понесло. В те годы мне легко давались языки, отчего я до сих пор толком ни одного не знаю. Немецкий я уже изучал два года, уже кое-как болтал с военнопленными, которые хвалили мое произношение, по-видимому, в обмен на сигареты, которые я им дарил. (Прима дойч!)

Во время изучения языка наступает бредовое состояние, когда во сне начинаешь быстро-быстро лопотать на чужом языке, хотя наяву все еще спотыкаешься, когда, глядя на окружающие предметы, видишь, как они раздваиваются двойниками чужеродных обозначений, — словом, наступает тот период, когда твой воспаленный мозг преодолевает некий барьер несовместимости двух языков. Именно в таком состоянии я тогда находился.

К этому времени я был нафарширован немецкими поговорками, светскими фразами из дореволюционных самоучителей, антифашистскими изречениями, афоризмами Маркса и Гете, сжатыми текстами, призванными развивать у изучающих язык бдительность против возможных немецких шпионов (получалось, что шпионы, по-видимому, нервничая, начинают разговаривать с местными жителями на немецком языке). Кроме того, я знал наизусть несколько русских патриотических песен, направленных против оккупантов и переведенных на немецкий язык, а также немецкие классические стихи.

Все это выплеснулось из меня в этот горестный час с угрожающим напором.

— Вы говорите по-немецки? — спросил я и, обернувшись к нему, продолжал, даже не пытаясь укоротить шаги перед приближающимся в начале следующего квартала летним кинотеатром. — Вундербар! — продолжал я. — Вы

изучали его самостоятельно или в высшем учебном заведении? О, понимаю, вы изучали его, находясь в Германии в качестве офицера союзнической армии. Я надеюсь, не в качестве военнопленного? Нет, нет, это, конечно, шутка. Карл Маркс говорил, что лучшим признаком знания языка является понимание юмора на данном языке, а знание иностранных языков есть оружие в борьбе за жизнь.

Я глядел на Костю и чувствовал, что он почти ничего не понимает. Временами лицо его озарялось догадкой, и он как бы пытался ухватиться за знакомое слово, но сзади набегала толпа новых слов и уносила его куда-то.

Я чувствовал себя победителем. Кинотеатр был совсем рядом. Из-за кустов и деревьев сквера доносился глухой плеск толпы, стали попадаться покупатели случайных билетов. Увидев первого из них, я чуть не подпрыгнул от радости.

Возлюбленная моя закусила губу. Из радиолы над входом в кинотеатр лилась легкая мелодия «Сказок Венского леса».

— Закаты на Рейне, — сказал я, повернувшись к капитану, — так же прекрасны, как восходы в Швейцарских Альпах... Эти фазаны из нашего фамильного леса. Проби-рен зи, битте! Мой егерь большой чудак.

В этом месте я сделал жест, указав на крону одного из камфорных деревьев, под которыми мы проходили. Спутники мои удивленно подняли головы...

— Знаете ль вы край, где лимоны цветут? — спросил я у капитана, как всегда, не зная меры и не умея вовремя остановиться.

Капитан молчал.

— Костя, ну что ж ты ему не отвечаешь? — в отчаянье вставила наша возлюбленная, когда я остановился, чтобы перевести дыхание. Она была оскорблена за него.

— А чего перебивать, — мирно заметил Костя. — Мне бы так на экзаменах...

Осенью Костя собирался поступать в одну из ленинградских военных академий. Мы подошли к кинотеатру. Костя обошел толпу, все-таки надеясь что-нибудь достать, но все было напрасно. Я ликовал, но, кажется, слишком рано, а главное, слишком откровенно.

Через полчаса мы были в парке на танцплощадке. Они, как обычно, пошли танцевать, а мы с сестрой остались сидеть на скамейке.

В те времена, как и во все последующие, я танцевал плохо. Танцевальные ритмы застревали у меня где-то в туловище и до ног доходили в виде смутных, запоздалых толчков. Так что сестра ее, естественно, не стремилась со мной танцевать. Она просто сидела рядом, и мы о чем-нибудь говорили или, что было еще приятнее, молчали. Изредка ее кто-нибудь догадывался пригласить, изредка потому, что обычно посетители танцплощадки принимали ее за мою девушку.

Так мы сидели и в этот вечер, ни о чем не подозревая. Но вот проходит один, второй, третий танец, а наших все нет.

— Куда они делись? — говорю я, заглядывая в глаза сестре.

— А я знаю? — отвечает она и, пожав плечами, смотрит на меня своими сонными под нежными веками глазами.

— Давай обойдем, — киваю я на танцплощадку.

— Мне что, давай, — говорит она и, пожав плечами, встает со скамейки.

Мы обходим бурлящий круг танцплощадки, я стараюсь высмотреть все танцующие пары и вижу, что их нигде нет. Я чувствую, как тошнотное уныние охватывает меня.

— Может, они в тир зашли? — говорю я неуверенно.

Она пожимает плечами, и мы направляемся в тир.

Тир пуст. Заведующий, опершись спиной о стойку и глядя в зеркальце, шлепает в мишень из воздушного ружья пулю за пулей. Вот уже четвертая в десятке.

— Иду на интерес, — говорит он, не оборачиваясь и заряжая ружье пятой пулей, — я одной рукой без упора, а ты двумя с упором?

— Нет, — говорю я и смотрю, как он и пятую пулю всаживает в десятку.

Мы подходим к павильону прохладительных напитков, но их и там нет. Мне приходит в голову, что, пока мы их ищем, они вернулись на наше место и ждут нас. Я тороплю ее, мы возвращаемся на свое привычное место, но их нет. Я решил немного подождать их здесь. Но они не подходят. Вдруг на меня находит волна подозрительности, мне кажется, все они в сговоре против меня. Я начинаю всматриваться в лицо своей спутницы, стараюсь угадать в нем выражение тайной насмешки, но, кажется, ничего такого нет — сонное чистое лицо с красивыми глазами под

тяжелыми веками. Я даже не могу понять, беспокоит или нет ее то, что они исчезли.

— А может, они где-нибудь там? — киваю я в глубину парка.

Она молча пожимает плечами, и мы начинаем обходить парк, заглядывая в каждый уединенный уголок, на каждую скамейку. Мы даже зашли за памятник Сталину, думая, может, они сидят за ним на верхней ступеньке пьедестала, уютно опершись спиной о полы его гранитной шинели. Но и тут их не было.

Наконец мы оказались в самой уединенной части парка, куда доносилась притихшая музыка, уже процеженная от своей навязчивой пошлости листвою и хвоей деревьев. Мы подошли к скамейке, стоявшей под кустом самшитового деревца, хотя уже издали было видно, что на скамейке никого нет. Но почему-то вдруг захотелось подойти к этой затемненной скамейке, окончательно убедиться, что ли... Подошли, постояли. Рядом со скамейкой рос большой куст пампасской травы. Я почему-то приподнял и откинул его нависающую гриву. Заглянул под нее, как если бы они могли неожиданно упасть со скамейки и закатиться под этот куст.

— Нету, — сказал я и бросил странно шелестящий куст.

Я посмотрел на свою спутницу. Она пожала плечами. И вдруг я ощутил как-то слитно и эту уединенную часть парка, и эту приглушенную музыку, и эту взрослую свежую девушку с тяжелыми веками и яркими губами, что-то покачнулось в моих глазах, я положил руки ей на плечи и в этот самый миг почувствовал, как тень какой-то большой и печальной мысли пронеслась надо мной и скрылась.

— Где же они могут быть? — спросил я, стараясь вернуть себе то странное состояние, которое было у меня за миг до этого. Но, видно, и она почувствовала, что во мне что-то изменилось.

— А я знаю? — сказала она, пожав плечами, и это можно было понять как слабую попытку освободиться.

Я опустил руки.

Мысль, которая открылась мне в это мгновение, так меня поразила, что я весь остаток вечера промолчал и где-то возле двенадцати часов, проведив до дому свою подругу, продолжал над ней думать.

Когда я положил руки на плечи этой девушки и увидел близко ее прекрасные сонные глаза под тяжелыми веками и почувствовал, что сейчас смогу ее поцеловать, мне неожиданно открылось, что в этот миг моя великая единственная любовь, покинув продуманное русло, почти безболезненно устремится в какой-то неожиданный боковой рукав. И тогда я почувствовал и даже как бы воочию увидел множественность самой жизни и, следовательно, моей жизни и моей любви.

И одновременно с этим у меня возникло ощущение, похожее на грустное предчувствие, что жизнь в самые свои высокие мгновенья будет приоткрываться мне в своей множественности и что я никогда не смогу воспользоваться одним из ее многочисленных ответвлений, а буду идти по намеченной стезе... Потому что нам эта ветвистость ни к чему, нам подавай единственное, неповторимое, главное. Ради такого нам не жаль голову разmozжить и душу расквасить, а вариантность нам ни к чему, нам скучно с этой самой вариантностью, да ради нее мы и ухом не поведем и пальцем о палец не ударим!

Хотя я эту мысль сейчас как бы слегка развиваю, все-таки предстала она передо мной именно в тот милый и злополучный вечер.

Не помню, как они объяснили свое исчезновение, и потому не хочу ничего придумывать; видно, как-то объяснили, и я поверил, потому что хотел поверить. Во всяком случае, время от времени мы продолжали встречаться. Иногда я впадал в отчаянье, но прирожденный оптимизм и память о том незабываемом письме в конце концов брали верх.

А сколько было горьких минут, когда казалось, что все погибло, что никакого письма не было, что все это мне просто приснилось.

Так однажды при мне, разговаривая с сестрой и вспоминая времена нашего совместного обучения, она вдруг сказала:

— Помнишь, какой он был тогда и какой теперь...

Она это сказала с каким-то тихим сожалением. Я похолодел от обиды, но промолчал. Ведь не станешь доказывать, что ты сегодня лучше, чем вчера, а завтра будешь лучше, чем сегодня, хотя доказывать это хотелось. В тот вечер, придя домой, я долго и безнадежно смотрел в зеркало на свое желтое, высосанное малярией лицо.

И все-таки чаша весов постепенно стала склоняться в мою сторону. С каждой встречей я стал благодарно замечать тайные знаки ее внимания. Бедняга капитан совсем ступешевался. В последнюю неделю мы гуляли втроем, он исчез, по-видимому, почувствовав, что начинает делаться смешным. Из соображения высшего такта я не спрашивал о нем и даже делал вид, что не замечаю своей победы.

И наконец единственный, неповторимый вечер — мы вдвоем. Я ликовал. Честно говоря, я был уверен, что этот вечер рано или поздно должен наступить. Это было торжество стройной теории над голой практикой капитана, в сущности, хорошего парня.

Но ничего не поделаешь, раз уж ты не получал такого письма, лучше не суйся. Не суйся, милый капитан, не швыряйся деньгами, не смей человека, который, прежде чем пускаться в это бурное плаванье, получил по почте кое-что, дьявольски похожее на лодманскую карту.

Вечер. Мы стоим у калитки ее дома. Она в чудесном голубом платье с искорками, струящемся по ее гибкой фигуре. Из окон ее дома до нас доходит слабый свет, озелененный виноградными листьями беседки. Вместе со светом слышится неразборчивый говор, смех. Временами еле заметным дуновением доносится аромат созревающего винограда.

Я стою перед ней и чувствую, как в полутьме зреет первый поцелуй. С какой-то астрономической медлительностью и такой же неизбежностью лицо мое приближается к ее белеющему в полутьме лицу. Она смотрит на меня исподлобья милым, глубоким, испытывающим и просто любопытствующим, я это тоже чувствую, взглядом.

Я страшно взволнован не только ожиданием предстоящего чуда, но и опасениями его скандальных последствий. Я никак не могу сообразить, понимает ли она, что зреет в эти мгновенья.

Она только смотрит на меня исподлобья, а я чувствую, как во мне приливают и отливают волны отваги и робости.

— У тебя лицо все время меняется, — удивленно шепчет она.

— Не знаю, — шепчу я в ответ, хотя чувствую, что оно и в самом деле все время меняется, но я не думал, что это может быть заметно для нее.

Мне приятно, что она замечает силу моей взволнованности. Я успеваю сообразить, что, если она ужаснется от

стыда или отвращения, когда я ее поцелую, я постараюсь объяснить это своим неизменным состоянием.

И вот уже близко, близко светлое пятно ее лица. Страшный миг вхождения в теплое облачко.

— Не надо, — слышу я провоцирующий шепот и погружаю губы в сотрясающий (может, каким-то детским или допотопным воспоминанием?) молочный, млечный запах ее щеки.

Проходит головокружительная вечность, и я чувствую, как постепенно благоухающая облачность первых прикосновений рассеивается и ощущение делается все суше, все слаще, пожалуй, слишком...

Но вот она выскользывает, вбегает в калитку и исчезает в темноте, только слышен глухой стук каблуков по тропинке к дому, потом щелкающий на ступеньках крыльца, и вдруг она появляется на освещенном крылечке, стучит в дверь, чтоб открыли, и, быстро наклонившись, так что я вижу, как падает на глаза прядь волос, заглядывает в дырочку почтового ящика.

Я смотрю на нее, пьяный случившимся и в то же время удивленный трезвостью ее движений: какого еще письма можно ждать после того, что сейчас случилось? Несколько секунд она ждет, пока ей откроют дверь, а я смотрю на нее и вдруг чувствую в себе такую необыкновенную силу, что вот сейчас захочу, чтоб она обернулась в мою сторону, и она обернется.

Несколько секунд я восторженно издали смотрю на нее, стараясь внушить ей свое желание, уверенный, что оно обязательно дойдет до нее. Но вот открывается дверь, она проскальзывает в нее, так и не обернувшись.

Нисколько не смущенный этим, я возвращаюсь домой вдоль тихих окраинных улиц, застроенных маленькими частными домами с небольшими земельными участками. Возле каждой усадьбы с той стороны забора меня встречает собака и с яростным лаем провожает до конца участка, где уже, подвывая от нетерпения, дожидается меня очередной страж. Псы передают меня, как эстафету.

Я не обращаю на них внимания. Мной владеет самоуверенность мужчины или, скорее, алхимика, которому после долгих провалов удалось провести первый опыт волшебства. Мне кажется, я всеильный.

Я останавливаюсь возле штакетника, за которым особенно неистовствует какой-то пес. Захлебываясь лаем, он одновременно роет и отбрасывает землю задними лапами.

Неожиданно я сажусь на корточки и смотрю сквозь штакетник в его налитые бессмысленной злобой глаза и вслух говорю ему, что любовь и добро всеильны, что вот захочу — и ты мгновенно перестанешь лаять и будешь радостно визжать и лизаться, потому что я сейчас даже тебя люблю, глупая ты, глупая псина. Видимо, собака и в самом деле глупая, потому что слова мои до нее не доходят и она продолжает неистовствовать.

На следующий день я гулял по берегу моря, все еще находясь под впечатлением свидания, вспоминая его волнующие подробности и, главное, чувствуя себя на голову выше, чем до него.

Следующая встреча должна была произойти через день. И хотя я ее упрасивал встретиться сегодня же, а она никак не соглашалась, ссылаясь на домашние дела, теперь мне казалось, что передохнуть один день даже не помещает.

Мысленно перебирая несметные богатства вчерашнего свидания, я гулял по берегу моря. День был солнечный и еще не очень жаркий. Неожиданно на берегу я встретил Костю. Он тоже гулял один. Мы поздоровались, и я крепче обычного пожал ему руку, стараясь внушить ему этим благородное сочувствие и пожелание мужественно справиться с неудачей. Я почувствовал, что и он крепче обычного пожал мне руку, и вдруг я понял, что он каким-то образом догадался о случившемся и теперь молча поздравляет меня с честной победой. Такое благородство восхитило меня, и я еще сильнее пожал ему руку. Наверное, он у нее был и она ему все сказала, решил я.

— Ты был у нее? — спросил я.

— Нет, — сказал он, — я только что приехал с учений и сегодня же уезжаю.

— Куда?

— В Ленинград, — сказал он и сам с любопытством заглянул мне в глаза. — А разве она тебе не говорила?

— Наверное, забыла, — ответил я, кажется выдержав его взгляд.

Это известие было как гром в ясном небе. Кажется, мне усилием воли удалось остановить часть крови, хлынувшей в лицо.

— Сегодня она меня провожает, — добавил он как-то чересчур буднично.

Мы продолжали идти вдоль набережной. Кажется, он предложил мне где-нибудь посидеть на прощанье, но я ничего не слышал и ничего не понимал и в первое же удобное мгновение расстался с ним.

Так вот, оказывается, какой ценой досталась мне эта победа! Значит, я просто занял временно опустевшее место! Я стал заново прокручивать день за днем все наши последние встречи и понял, что потепление в наших отношениях, тайные знаки внимания и, наконец, это венчающее все свидание объяснялись тем, что он уезжает.

Я, конечно, знал, что он собирается поехать учиться в академию, но почему-то думал, что это будет не скоро, в самом конце августа, а во-вторых, ни разу даже в мыслях не связывал свою победу с таким механическим устранением соперника. Все это показалось мне теперь нестерпимо гнусным.

В субботу вечером, гуляя по портовой улице, я увидел ее с сестрой в толпе подружек. По установившемуся обычаю я должен был подойти.

Она была все в том же голубом с искорками платье, но теперь оно мне показалось каким-то змеистым. Мы кивнули друг другу, но я не подошел. Мы продолжали гулять в разных компаниях, я со своими друзьями, она со своими.

Видимо, она решила, что я стесняюсь ее подружек, и вместе с сестрой приотстала от остальных. Но я и тут не подошел. С язвительным наслаждением я заметил в ее лице некоторые признаки растерянности или паники, как мне тогда показалось. Сестра ее, словно наконец-таки проснувшись, оглядывала меня с уважительным любопытством.

Товарищи мои, которые теперь обо всем знали, глядели на меня подобревшими глазами, как на человека, который роздал нищим привалившее ему суетное богатство и вернулся к бедным, но честным друзьям.

Наконец меня подозвала ее сестра. Сама она стояла у парапета, ограждающего берег. Она стояла лицом к морю. Когда я подошел, она слегка повернулась ко мне.

— Что случилось? — спросила она, осторожно заглянув мне в глаза.

— Костя уехал? — спросил я, ожидая, что она сейчас растеряется.

Но она почему-то не растерялась.

— Да, — сказала она, — просил передать тебе привет.

— Спасибо, — проговорил я с театральным достоинством и добавил: — Но украденные у него свиданья мне не нужны.

Это была тщательно подготовленная и, как мне казалось, убийственная фраза.

— Вон ты как... — прошептала она одними губами, словно внезапно осознав свою непоправимую оплошность.

В следующее мгновение она повернулась и, склонив свою жалкую и милую головку, стала уходить от меня, все убыстряя и убыстряя шаги, как и все женщины, стараясь опередить набегающие слезы.

Мне ужасно захотелось кинуться за нею, но я сдержался. В городе стало тоскливо и пусто, и я ушел домой.

В тот же вечер я заболел ангиной, а через неделю, когда выздоровел, острота разрыва смягчилась, отошла.

К слову сказать, один из моих друзей, как выяснилось впоследствии, каждый раз, влюбившись в какую-нибудь девушку, обязательно заболел. Причем степень заболевания прямо соответствовала силе увлечения и имела довольно широкую амплитуду от лихорадки до гриппа.

Но с той, которая прислала мне прекраснейшее письмо, мы больше не виделись. Кажется, в тот же год родители ее продали свой домик и переехали в другой город.

Еще во времена нашего знакомства мне иногда приходила в голову мысль, что она не смогла бы написать такого огненного послания. Может быть, думал я, она переписала его из какого-нибудь старинного романа, только вставила кое-что от себя. Такое предположение меня несколько не оскорбляло. Я считал, что она передала мне знак, точный иероглиф своего состояния. А кто выдумал сам иероглиф, в конце концов было не так уж важно.

Но с другой стороны, кто его знает, может быть, чувство озарило ее вдохновением, которого хватило только на это письмо? Так или иначе, теперь это тайна, разгадывать которую сам я не намерен и тем более не намерен выслушивать любые предположения со стороны, причем не только проницательные, но даже и льстящие самолюбию рассказчика.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Начало . . . . .	3
Петух . . . . .	19
Запретный плод . . . . .	26
Тринадцатый подвиг Геракла . . . . .	35
Мой дядя самых честных правил . . . . .	49
Колчерукий . . . . .	64
Богатый Портной и хиромант . . . . .	95
Письмо . . . . .	152

---

Фазиль Абдула-иҗа Искандер  
АЛАГАРҒА  
А ж ә а б ж ь қ у а  
Урышәала

ფაზილ აბდულის ძე ისკანდერი  
დაწიბა  
მ ო თ ხ რ ო ბ ე ბ ი  
რუსულ ენაზე

Фазиль Абдулович Искандер  
НАЧАЛО  
Р а с с к а з ы

Редактор *А. Я. Беселия*  
Художник *Г. Т. Корсантия*  
Художественный редактор *П. Г. Цквитария*  
Технический редактор *С. А. Гордезиани*  
Корректоры *Ж. И. Гублиа, А. А. Мхитарян*

---

Сдано в набор 13.IV.1978 г. Подп. к печати 19.VII.1978 г.  
Формат 84x108<sup>1/2</sup>. Типогр. бум. № 3. Усл. печ. л. 9,24.  
Уч.-изд. л. 9,29. Заказ 2566. Тираж 50000 экз. 2-ой завод:  
I--25000 экз. Цена 55 к.

---

Издательство „Алашара“, Сухуми, ул. Ленина, 9.

Сухумская типография № 7 им. Ленина Госкомитета Совета  
Министров Грузинской ССР по делам издательств, полиграфии  
и книжной торговли. Сухуми, ул. Ленина, 6.

55 коп.